

Н.Ф.Б.

Урборос



Николай Болдырев

**У
Р О
Б О
Р
О
С**

Философская история одного отпуска

Студия Единорог

2023

УДК 882-1
ББК 84 (2Рос-Рус)6-5
Б79

Новая книга Николая Болдырева - философский и одновременно поэтический дневник, суммирующий размышления над ситуацией абсолютно нового мира, где “поэтическое жительство” предстает не только почти невозможным, но словно бы намеренно уничтоженным.

© Н. Ф. Болдырев, 2023

Уроборос

Записки от дачной скуки



Осенний месяц беспредельно прекрасен.
Тот, кто не видит разницы и считает, что
месяц всегда таков, вызывает жалость.

Кэнко-хоси "Записки от скуки"

День первый

Птичка поет. Два ворона, мерцающие свежей чернотой, погрохотывали, сидя друг подле друга на вершинной ветке сосны, а третий кружил поодаль, а потом опустился возле дождевой лужи недалеко от меня...

Душа проста. Сложен интеллект, притворяющийся душой. Душа Алексея Федоровича Лосева проста, как бы он ее ни усложнял тайным монашеским постригом; сложны языковые сплетенья интеллектуальных дорог и троп внутри его жажды всепознания. Когда 95-летний Лосев, едва не плача в порыве панического отчаяния, восклицал (в присутствии Леночки Тахо-Годи) "пропала жизнь, жизнь пропала! я ничего не сделал!", то это была паника по поводу прорвавшегося понимания тщеты интеллектуальной игры, ибо для комментирования мира интеллекту нужна вечность. Душа же упокоенно молчала, ибо её вечность - внутри её самой. Труд души свершен, и поэт умирает от той или иной случайности, часто в очень юном возрасте.

Немец-индуист из "Крика муравьев" (Махмальбафа): после тринадцатилетней полунищей жизни в Индии с изумлением ощутил, что "ум души очень маленький и хрупкий, почти как у ребенка". Иранскому режиссеру он говорит об этом с умилением открытия, как ему показалось, истины. Ибо немец привык думать, что истина у Фихте или Гегеля.

Душа не умна, не хитра, не изобретательна, не остроумна, не владеет знаниями. Её могущество - в простоте и наивности. Таков и сам космос.

"Чужая душа - потёмки"? Душа в другом та же, что и у тебя, она прозрачна и чиста; потёмки - лабиринты эго-самости, охваченные "жизненным аппетитом". Потёмки - в интеллектуальных лабиринтах многознаек, притворяющихся мудрецами.

Душа как раз страдает от многообразия и отвращается от него. Это телу нужен "весь мир", это тело жаждет внешнего космоса. Душе

достаточно самого первого, рассветного опыта. В этом вся этика и вся онтология. В сегодняшнем натиске многообразия и многообилия душе крайне тяжело, ибо её монашество становится проблематичным.

Душа переживает один-единственный и бесконечный опыт. Огромное, ненасытное воображение - у тела. У души нет воображения. Тело поражено вещами. Душа поражена невидимо творящимся: первым и последним. Тело по природе развратно. Душа по природе целомудренна. В этом вся философия.

Материально-телесная цивилизация не может не быть развратной и заранее отчаявшейся.

Во множественности человек истаивает.

За любопытство человек расплачивается истлением души. Такова природа того "убийства Бога", о котором столько написано.

Можно странствовать, чувствуя неясно-властный зов другого ландшафта, но на самом деле мы странствуем (если конечно странствуем, а не движемся как слепцы) в поисках утраченной частицы своего достоинства, а может быть не частицы, а всего достоинства, нам кажущегося неизвестным.

Душа, когда бы она решилась (захотела) написать роман, писала бы его для себя самой. Это тела пишут романы "для всего мира". Тема романов одна и та же: жизненный аппетит (жадность) и способы его удовлетворения.

Могу себе представить немалое количество потрясающих романов, написанных душой для себя. Они лежат в столах и в шкафах, выбрасываемые и уничтожаемые родственниками после смерти телесных матриц владельцев столов и шкафов. Материализованная телесность нашей культуры столь плотна и столь brutальна, что такие романы показались бы неким туманом и дымкой, неким паром над предутренними приречными лугами.

Душа печально наблюдает за дергающимся в панике телом, выпускающим во все стороны паутины воображения. "Пропала жизнь!

я ничего не сделал!"

Когда поэт писал: "В этом мире умирать не ново, но и жить, конечно, не новей...", то это писало его тело, которому и была в основном посвящена его поэзия. Тема поэта с берегов Оки всё та же: тропинки жизненного аппетита и могучая власть необъяснимой тоски.

Телесна ли была культура древних греков? Помню, как-то, девятнадцатилетним, прочел первый том Лосева из его Истории античной эстетики. В записной книжке написал: "Наивный дорефлексивный реализм Гомера: мир непосредственного созерцания не похож на наш, потому что мы не в состоянии отвлечься от научных обобщений, затверженных со школьной скамьи. Видимо, только маленькие дети смотрят на мир так же, как древние греки. Для такого созерцания нет разницы между сущностью и явлением". Поскольку мир был божественным в прямом смысле слова: людям являлись боги с ключами к некоторым вещам. Отдельной епархии души не существовало.

Польский нобелиат Чеслав Милош называл Сведенборга, Блейка, Мицкевича и Достоевского среди тех, кто ценою почти безумия пытались вырваться из плена тоталитарной научной матрицы. Олдос Хаксли о науке: форма вопиюще амбициозного невежества, где ученый - истинный горилла.

Лишь во вненаучном сознании возможен контакт с сакральным. Ибо сущностное внефункционально, оно не интересуется целью, тем более прагматичной. Частенько смотрю просто так на березу в моем дворе или на осинку у пруда и случаются минуты, когда я совершенно не понимаю, что и кто передо мной. "Что это за странное неведомое существо? В чем его смысл и назначение? Где у него верх и где низ? Что это? Кто это?" И забываю эти слова "береза", "осина", "дерево", ибо они напичканы "научными" объяснениями этой сущей неведомости. Разве мы можем знать, для чего создано это чудесное явление?

Поддавшись "великой иллюзии" науки, человек ссохся и вместе с этим ссохлась его Вселенная.

День второй

Проснулся с ощущением виденного сна. Долго подыскивал слова для зыбкости его эроса: суть (внутренний императив, тайная жажда) любви: сделать свою жизнь настоящей. Одно моё зрение еще не делает оптику подлинной, не дает экстаза: переживанию подлинного лика мира требуется чье-то второе видение, изнутри которого я сам чудесным образом становлюсь истинным переживателем.

Формула Фромма "иметь или быть?" одно время была на слуху. Но оказывается, еще во времена Адама Мицкевича шел похожий альтернативный спор между сторонниками двух других принципов жизни: Etre и Savoir (быть и знать), "что примерно соответствовало разделению на сторонников либо наследственной монархии, либо республики, контролируемой народом, а в России - на славянофилов и западников" (Чеслав Милош). Восточники выбирают *быть*, западники - *знать*.

Быть (etre) означает не торопясь целостно ощущать начальную энтелехийность. Знать - фетиш соревновательной пурги и насилия, погружающего мир во власть машины.

Достал с полки томик Ивана Киреевского и перечитал несколько хорошо знакомых страниц. Задумался о том, какая громадная дорога пролегла по Руси. И вот сегодня мы похожи на человека, поджавшего здоровую ногу. Ведь вся эпоха русской послепетровской сознательной жизни имела фундаментом великий диалог западников и славянофилов (восточников), прерванный инородческим переворотом 17 года. Страна и народ потеряли ментальную почву; страна зависла, в прямом смысле зависла между Востоком и Западом. Дискуссия и диалог, который позволял России быть гармоничным организмом, стоящим на двух ногах, исчез и с тех пор уже не возобновлялся. Почти вся постсоветская культурная среда устремила на Запад. Восток же стали не осваивать, а использовать, как используют специи в богатом застолье. Это стояние на одной ноге означало неслыханную, ибо добровольную форму рабства. Пока русский просвещенный человек воспринимал мир и свою культуру (равно и чужую) диалогически, полемизируя как с сугубо восточной, так и с западной формами ограниченности, он оставался самобытно неповторимым существом.

Такого Диалогизма, проживаемого в большом культурном пространстве, нигде никогда не существовало. И вдруг - вставание на колени перед откровенной западной пересушенностью. За что, скажите на милость, уважать культуру, бывшую инь-яньской, но скатившуюся до таких ролей? Вот где надо бы сесть в скорбный круг и посыпать головы пеплом.

В чем особица диалога славянофилов и западников, кто выигрывал? В философском и общекультурном плане перевес очевиднейший был у восточников: аргументы западников не имели глубины, фиксируя, по существу, лишь "блага цивилизации". Но почему реально их точка зрения была весомой? Потому что вектор государственной политики России оставался (по нарастающей) западно-центричным. Что и погубило страну, разрушенную "свободами", ментальным растлением так называемой интеллигенции. Наша почвенничество мощно заявило себя в русской музыке, живописи, романистике и поэзии. Именно через это наша культура конца восемнадцатого, девятнадцатого и отчасти начала двадцатого веков набрала высочайший уровень скрытой полемики с процессами разукоренения, которые предлагались либеральными западниками. отдавшими в конце концов власть в крестьянско-княжеской стране самой разукорененной, самой враждебной крестьянству и зеиледельчеству нации в мире. Наша литература и поэзия той эпохи стояла на глубинно-корневой почве, из которой прорастала уникальная диалогичность русской души, где западная культура в ее чистых пределах и феноменах (отобранных русским умом, чувством и интуицией) вливалась в стихийную религиозную естественность, в том числе в исихазм и в адвайтизм, присущий каждому глубинно русскому человеку.

Сумеем ли мы встать на обе ноги?

Странная закрепилась мысль, что русский без "опыта Запада" остается "неполным человеком". Китайцу прежних времен, индийцу или японцу это показалось бы нелепым. Сама идея "полноты" - в сущности американская. Лао-цзы и Чжуан-цзы, с которыми у нас архетипическое сродство, говорили о настоящем или истинном человеке. А он вырастает не из опытов социальных тренировок, дополнений и суммирований. Генезис здесь абсолютно другой.

Сидел у ручья, наблюдая его истинность. Истина - не то, что познаваемо "умным человеком" посредством искусства мышления. Парадоксальность её в том, что она не познаваема. Никакое самое гениальное усилие мышления к истине не причастно. Интеллект утверждает основание безумия, а именно: идею, что истина познаваема, что её можно взять напором, атакой, осадой, то есть насилием. Однако прошедшие три тысячи лет показали даже слепым, что познаваемое и извлекаемое на поверхность - не фрагменты истины, а зло. И вся западная парадигма сознания - это извлечение зла и культивирование его, якобы в надежде познать в конце концов истину. И всё искусство, вся художественность тоже построены на этой идее (за редкими исключениями).

Парадоксальность истины в том, что она не познается, а открывается сама тому, кого избирает достойным. Вот почему вся древняя и вся восточная традиция опиралась на императив пробуждения в себе "истинного (настоящего, подлинного, изначального) человека".

Истина открывается (конечно, не в словесно-речевых формах) только истинному человеку, а ложному (а тем более лживому) человеку открывается только ложь несмотря на все его труды и мольбы. Такова природа единства онтологии, гносеологии и этики!

Да будь ты и в миллион раз разнообразнее и настойчивее деятельным, ты и на сантиметр не приблизишься к истине. Цунами деяний уведут лишь в пучину омрачений и омраченности. Но даже крошечный опыт не-деяния вспыхнет свечой в твоей пещере.

Недеянье - деяние по направлению-к-истине. Деянья затачиваются на успех, недеянье есть чистое благо без какого-либо желания воздействия на кого-то.

Русскому человеку пять веков внушали, что он должен стыдиться своего простого, "лапотного", естественного (вне фильтров и заглушек) взгляда на мир; пять веков названия целомудрия невежеством. Тютчевское "Не поймет и не заметит/Гордый взор иноплеменный..." сменилось уже более суровыми наблюдениями Заболоцкого:

В очарование русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна...

Каков был критерий "истинного человека культуры" даже в достославные хрущевские времена в глазах девушек и отроков из интернационального истеблишмента, особенно там, где была примесь еврейской крови? Идеальным существом представлялась мышь, съевшая всё содержимое пропагандистской машины западного интеллектуализма. Люди, стремительно себя растлевавшие, пытались называть это мудростью.

В то же время к сущности русской поэзии всё это не имело отношения. Содержание русской поэзии в ином.

Свободные слова теснятся в мерный строй,
И на душе легко, и сладостно, и странно,
И тихо все кругом, и под моей ногой
Так мягко мокрый лист шумит благоуханный.

Означает ли это, что русская поэзия становится всё более нерусской? Именно так, увы.

Присутствие души - вот всё содержание русской поэзии, русских стихов. Русский логос есть логос в чистом виде: изначальная чистота вслушивания.

Сколь часто русские девушки и юноши, вкусив культурного западного винегрета, вдруг начинают стыдиться своей русскости. Что за лакомство, что это за яд, который настолько силен, что побуждает их становиться предателями, отчужденными от своей, богом им данной, сущности. Едва ли они понимают, что совершают, переходя на другую сторону улицы, завидев русского, делая вид, что не понимают порусски, когда на какой-нибудь немецкой, польской или итальянской улочке или вокзале к ним кидается соплеменник за помощью или советом. Они не понимают, что порывая с русской родовой сущностью ("коллективным бессознательным"), они порывают с родовой сущностью вообще, поскольку в чужую родовую сущность невозможно войти со стороны "культурного образования"; родовая сущность

непродаваема и не подлежит обмену. В почву родовой сущности тебя воткнул Создатель. Таким образом они теряют и потенциальную возможность встречи с трансцендентальной своей душой, превращаясь в людей-призраков, имитирующих функции и жесты чужой культурной игры.

Рильке полюбил Россию за это великое её *отставание*. За великое замедление. Отстать, спрятаться в зеленях от обезумевшего в беге человечества.

Кто враг, кто черный враг человека-индивида, того истинного, то есть блаженно Одинокого? Человечество.

Антоний Сурожский прав: душа - дикая птица, и чтобы услышать ее пение, надо все же прийти на луг ранним-ранним утром и затаиться в полном одиночестве.

День третий

Утром ходил купаться в речке, неширокой, но глубокой. Сидя на берегу, вспомнил рассказ бабы Дуни (давно-давно это было), моей соседки по двухлетней моей деревенской тогдашней жизни. Рассказ о том, как она еще в девичестве видела в этой речке русалку. И это была последняя русалка, которую здесь видели. Другими словами, последних наяд, речных и озерных нимф, русалок на Руси видели в двадцатые годы двадцатого века. Почему они исчезли? Исчез один из модусов нашего коллективного сознания.

Реальность едина, но многоцентрична. Бог - не рупор, вещающий на всемирной площади. Он шепчет в каждое отдельное ухо свою неповторимую песнь. Равно таким же образом каждый уходит в своё Послесмертье, а не во всеобщее-обобщественное.

Если человек чувствует основание универсума как духовное, а плотскую тленность как игру феноменов, стремительно испаряющихся подобно туману, то он не сможет лгать. Человечество погрязло во лжи по уши.

Следовательно, люди уверовали в то, что основание универсума грубо материально и мертвенно-пустынно. Стали молиться жизненному аппетиту и мечтать о бессмертии плоти.

Обездоленные сиротские тела мечутся по земному шару в нервно-суетном, но бессмысленном напряжении, пытаются найти то, чего заведомо нет. Они мечутся, наталкиваясь друг на друга и раздраженно пихаясь, переходя во вспышках гнева к взаимооудушению. (Одно из оснований перманентного фашизма). Душа же, забытая, всегда остается дома. Ей нечего искать, ее сущность - обретенность.

Вчера вечером читал позднюю прозу Германа Гессе, сумевшего на исходе дней выйти за пределы литературы как формы эстетического фашизма. О детстве, противостоящем "действительности": "Богатым, многоголосым было звучание жизни, но мои сны наяву были еще богаче и прекраснее. Действительности никогда не было достаточно, требовалось еще волшебство..." (Древним грекам действительности было достаточно).

Но что стояло за этой тягой маленького Германа к волшебству? "Для магии в нашем доме было много места. Помимо шкафов моего дедушки были еще мамы шкафы, наполненные азиатскими тканями, платьями, покрывалами; магическим было то, как божок принимался косить взглядом, тайно пахли многие старые комматки и уголки на лестнице. И внутри меня многое отвечало магии, обступавшей меня снаружи. Были такие вещи, такие связи вещей, которые существовали только во мне и для меня одного... Уже капризное возникновение или исчезновение картинок и рассказов в упомянутой выше большой книге относилось сюда, равно как перемены в облике вещей, которые можно было наблюдать ежечасно..." Но что это за большая книга, в которую погружалась душа мальчика? То была огромная тяжелая книга в библиотеке деда. "В этой неисчерпаемой книге имелись старые, диковинные картинки - иногда страницы сразу раскрывались так, что картинки эти светло и гостеприимно как бы встречали меня сами, иногда я подолгу искал и не мог их найти, они куда-то пропадали..." Так же возникали и пропадали прекрасные истории, не поддающиеся пересказу. Всё приходило и уходило, когда само того хотело. "Во всем была действительность, во всем было волшебство". Вот оно!

В моем детстве у меня тоже была такая огромная таинственная книга, она состояла из нескольких богато иллюстрированных томов энциклопедии Брокгауза и Эфрона дореволюционного издания, и я входил в нее пугливо, как в громадный замок с безсчётием дверей, ниш, коридоров, комнат и старинных предметов неизвестного назначения, расставленных богами. Особенно зачаровывал том, весь заполненный жуками. И то, что наш деревянный, выстроенный отцом дом не был таким громадно большим и каменным, как у Гессе, дела не меняло: наш дом оставался таинственно просторным, и не только чердак, подпол и громадные ущелья сараев, но и моя комната с пятью окнами на три стороны света, где три окна выходили на долину, за которой виднелись холмы и хвойные леса, оставалась всегда до конца не познанной. Душа, вне слов, удерживала себя в пространстве белой магии.

Воображение есть грешное возбуждение интеллекта, знающего о своей импотенции, о своей неспособности что-то вырастить и пытающегося симулировать творческие акты. Воображение вступает в силу, когда некто перестает ощущать энергию, оживляющую касания предметных и телесных форм. На самом деле эти формы духовно-телесны и духовно-предметны, они уже изначально живы. Даже великие симуляции вроде толкиеновской не меняют дела. Ощущение чего-то неразрушимого стояло в детстве за прикосновением к каждому предмету.

Лишь человек, забывший свои имена, постигает свою истинную задачу. Другие же поработочены заботой о своем имени.

Ни одно имя не есть подлинное имя. У каждой вещи, как и у каждого цветка, есть тайное имя, известное только Садовнику.

Понимание, равно как и восприятие, нельзя накопить.

Ничто не поддается пересказу: И даже самый слабый уголок В руках твоих, подверженных экстазу Найти для сердца в мире уголок.

После обеденной скромной трапезы заглянул в древнеиндийскую "Анугиту": "Поэтому Речь никогда не звучит, присоединяясь к выдыханию. Звучащей рожденная или беззвучной, она всегда *пробывает*.

Но из этих двух безмолвная лучше звучащей; как дойная корова она, богатая, превкусные вещи источает. Она постоянно течет, возвещая о Вечном Брахмо; дивная дивным возникновением, ясноулыбая, она есть небесная дойная корова. Между этими двумя тонкими сутями, в их текучести постигни различие!..." Так это ж о трансцендентальной речи нашего Начала!

Поэтическая отвага. Ждать зова, рискуя не дожидаться его при жизни. Ждать духовного дождя, который возможно назначен не тебе, а следующему.

Писать не обязательно для того, чтобы кто-то слушал, вслушивался. Писать для того себя, который запутался в шифрах и в косноязычиях и может благодаря твоему внутреннему труду осознать, что же на самом деле происходило с ним в этой жизни.

У Владимира Библихина как-то бросилось в глаза: "Входит ли, входила ли Библия в неведомое целое? и Ригведа? Нелепо уверять, что нет, хотя реконструкция по-видимому дело не человеческого ума. В младограмматических реконструкциях праязыка и первотекста, я теперь думаю, мерещилось это восстановление первой вести, большого сообщения или обещания, о котором я говорю. Наверное, реконструкция невозможна потому, что сам текст еще не дописан, Откровение продолжается..."

Какой почти юношеский оптимизм! А почему собственно нет? Разве совсем не было попыток дописать ту (эту) "первую весть". Быть может, это была и есть единственно достойная тема для настоящего романа? Однако закавыка в том, что это первоначальное Неведомое Целое не было вербальным текстом, оно было беззвучным, оно существовало в "жанре" трансцендентальной Речи.

У Борхеса: "На какой-то полке вселенной стоит всеобъемлющая книга; молю неведомых богов, чтобы человеку - хотя бы одному, хотя бы через тысячи лет! - удалось найти и прочесть её". Или герой "Ста лет одиночества" Маркеса: почти всю жизнь расшифровывает пергаментный манускрипт великого мага-алхимика цыгана Мелькиадеса, и вот уже после невероятных трудов найдя шифр и ключи, взволнованно читает потрясающие вещи, но, дойдя до финала, понимает,

"что ему уже не выйти из этой комнаты, ибо согласно пророчеству пергаментов, прозрачный (или призрачный) город будет сметен с лица земли ураганом и стерт из памяти людей в то самое мгновение, когда Аурелиано Бабилонья кончит расшифровывать пергаменты, и что всё в них записанное никогда и ни за что больше не повторится..." М-да... Где-то что-то окончательное уже будто бы есть. И трудиться уже не надо. Однако даже Маркес предостерегает против этого фатально тщеславного пути.

"Доктор Живаго" - свидетельство того, что еврейско-русская интеллигенция, которой единственной было дозволено "формовать" центральные нити культуры, ничего не понимала и не поняла в русской жизни и в русской истории первой трети двадцатого века. Эту историю мог понять только азиатско-русский ум, выдающий мир как в основе своей духовно-природный феномен (а не феномен тщеславно-антропологических и психо-лирических интриг). Азиатско-русский взгляд на историю первой трети двадцатого века, к счастью, отчасти запечатлен в "Тихом Доне" и в "Повести о жизни" Паустовского. И не только.

Никакого содержания у мира, конечно, нет. Мир чрезмерно содержателен, чтобы мы могли этот великанский Смысл съесть или поставить на полку. И поэзии предстоит предавать словесной музыке эту неопишуемость бессодержательности и безмотивности, этого чистого скольжения в невероятном и неведомом. Содержание мира нам не по зубам. Оно может кому-то быть подарено блёстками и экстазами мгновенно распахиваемых и стремительнейше захлопываемых оконц. Но эти мгновенные "показы" не поддаются вербализации, вот почему возникают фантазии и гипотезы.

День четвертый

Набрел на стихотворение Рильке, которое страстно захотелось перевести... Какая могучая стена разделяет Рильке и современную поэзию, почти сплошь симулятивную и эстетствующую, исходящую из мировоззрения, которое я давно называю эстетическим фашизмом.

Поэт, конечно, - это тот, кто осознает Себя в себе. Или хотя бы чувствует. Но эта мысль или переживание должны быть постигнуты в восточном модусе, поскольку в западной схеме они реализовывали себя почти исключительно в фашизме (разнообразных толков и одежек). Западный провокационный будораж в людях повышенного чувства "я" (жизненного аппетита, "воли-к-жизни", "воли-к-власти", воли-к-убийству) приводит не к осознанию вневременного в себе, а к перманентной ненависти, прикрытой внешне-бытовыми фиговыми листочками вежливости. К яростному неприятию любого другого существа. "Все должны быть уничтожены кроме меня", - таков в своем ядре современный, западного покроя, человек. Для примера возьмем цитату из кодекса "Шулхан Аруха" Иосифа Каро 16 века: "Солнце освещает, дождь оплодотворяет землю только ради иудеев". И т.д., и т.д. Практика европейского конкистадорства, "мессионерства" и колонизаторства исходила их тех же принципов. Человек - это англосакс, германец, испанец, все остальные - скот. В сублимированном виде этот императив присутствует и в поэзии.

Культурологический фильтр в поэзии возник и вошел в моду именно потому, что душа человека вследствие временной слепоты, видит опору не в реальности (в русско-восточном смысле слова), а в культуре, то есть именно в той ловушке, в которой дух человека скончался.

Возникает вопрос: может ли культура быть не культуроцентричной? Но ведь она и не должна быть зациклена на саму себя. Бог создал природного (из божественной глины) человека. Что есть природа человека кроме священства глины? Я Есмь. Природоцентричность есть в известном смысле даоцентричность, духоцентричность. Природа не в смысле развернутости нам неведомого живого вещества.

Тьма и свет культуры не существуют сами по себе; они не субстанциальны. Они видимы только потому, что их освещает духовный свет.

Индийский мудрец двадцатого века объяснял очень доступно: "Итак, мир - это феномен на единственной Реальности, которая никоим образом им (миром) не затрагивается. Реальность только одна. Будучи сейчас в мире, вы видите этот мир как таковой. Выйдете за его пределы, и такое видение исчезнет: будет сиять только Реальность (то есть абсолютный Экран чистого Сознания. - Н.Б.)."

Притягательность западного интеллектуализма для многих именно в том, чтобы странствовать и блуждать, никогда не выбираясь из лабиринта. Лабиринтофилия. Жажда внешнего действия, бега, азарта: сексопатия. Бег вонне Себя. И тайный страх перед истиной, которая остановит этот карнавал чувственных утех, мыслей и эмоций, который иные почему-то называют поэзией.

Удивительно, что, когда человек освобождается ото всех дел, его охватывает паника. А ведь он в это время приближается к Атману, к бессмертному потоку Я-есмы.

Свет сияет не с Запада и не с Востока, а изнутри каждого из нас; а если не свет, тогда мрак подобный черному квадрату Малевича. Там-то и обретается "духовный центр". Но не мира, конечно. Ибо у мира нет духовного центра, только политические, культурные и пр., и пр. (так или иначе всё это текущие центры моды и "мейнстримов": торговля центрами). Космос как время-пространство Души обладает безсчетом центров. Древние даосы выразили это понимание даже в живописи.

Что такое "поэтическая истина"? Это тайна, которую поэзия создает и атмосферой которой она наслаждается. Но величайшие из поэтов, то есть люди, жившие истинно поэтически, всегда говорили с сожалением, что люди влекутся к тайнам и к тайне, но не к истине. Но что есть истина? Переживание тайны особого рода.

Истина не познается, но переживается: например, так происходит выпадение из ума в дурость, в Ивана-дурака. И ничего сверх. Ни вещей, ни званий, ни связей, ни друзей, ни заслуг. В лучших образцах поэзии, живописи, музыки достигается то же или похожее переживание.

Рильке десять лет трудился на своих внутренних невербальных полях, надеясь заслужить поэтическое откровение истины, однажды в 1912 году вдруг начавшееся и столь же внезапно прерванное с Той Стороны. Он ждал продолжения диктовки десять лет, хотя красивые стихи он мог писать ежедневно в неограниченном количестве.

Известное высказывание Бориса Пастернака о том, что есть одна

настоящая новость, и она называется талант, не просто неудачно. Писателей девятнадцатого века это бы покорило. О таланте не болтали, талантами не мерялись. О гениальности не трепались. Ею не торговали. Писательству не учили.

В том-то и ужас новой эпохи, что демона от ангела никто отличить уже не может, ибо уши и глаза настроены днем и ночью на одну-единственную новость: ах, талант.

Истинная новость не талант, а порядочный человек. Истинная новость не Пугачев, а Петруша Гринев. Вот всегда неожиданная новость: се христианин (о котором узнаешь только из его поступков), се индуст! Вот потрясающая новость: кроткий, смиренный, внимательный человек, то есть истина в обличье человека!

Читать надо бы немногие книги; но "зачитывать их до дыр". Никем не исполняемая банальность.

Настоящий поэт, вероятно, служит плероме, а не языку. А плерома говорит Молчанием: трансцендентальной речью.

День пятый

Ах, какой ливень хлестал сегодня с утра! Какое блаженство жить летом в краю резко континентального климата. Какая мягкость травы, какие трогательные выходы на поверхность древнейших на земле гор: то холмами, то таинственным пластами посреди мхов и лугов, усыпанных благоуханным разноцветьем. Какие кротко радостные рожи и перелески между пшеничных и гречишных полей! Сижу снова со стихами, даже сочинилось что-то.

Не думаю, чтобы нынешняя общемассовая "эстетическая стадия" означала энергетику напора в постижении красоты земного космоса: ничуть; *эстетическое* ныне создаёт колоссальное количество этически уродливых произведений во всех сферах жизни и культуры. Они возводятся на пьедестал, формуя габитус поколений. Мы вне космоса. Он нас не видит, не замечает. И если мы снимем или взорвемся, никто во вселенной не шелохнется. Сегодня это мне так именно и показалось,

хотя я не всегда в таком настроении.

Конец поэзии не только потому, что конец "человеческого типа", но еще и потому, что сама художественность износилась, протерлась на локтях и коленках, под мышками и в плечах. Было бы нелепо искать устойчивый критерий истинно художественного в эпоху сплошных симуляций и ежесекундных подделок.

Эстетический подход к миру и к людям дает свободу порханья, щебета, касаний, мурлыканья, зубоскальства и пр., и пр. Он повышает количество и качество жизненного аппетита.

Этический подход - подсчет скорбей, поражений и утрат. Радость здесь совсем в ином.

Теза о корневом единстве поэтического и философского гения (заявленная в новое время Жаном Полем и Новалисом), требует дополнения третьим источником - музыкой. Но понятие музыки должно быть фундаментально пересмотрено.

Сгибай, не изгибай язык, он все равно твой властитель, а ты раб. Сопротивление языку, борьба с языком?.. Большинство пишущих заражены благоговением перед речью, движущейся на срезах и пограничьях пограничий. Если, мол, ты не понимаешь этого чириканья, ты не человек, а мусор.

Всё, что я могу с книгой - слегка к ней прикоснуться, некие импресии с двух сторон. Книга нереальна, она вся из мерцающих светляков, из амбиций сознания, которого, возможно, не существует. Существует бумага и кожа, но уже буквы сомнительны. Всезнайка плывет в мареве букв. Он кажется себе демиургом. Чего?

Или вот Парщиков, объявленный гением, вроде бы мечтавший прорваться из реализма. Но дело ведь не в непрерывности остроумия и изощренного, стилистически необычного говорения, а в стремлении к новому объему самосознания, в жажде непрерывно себя осознавать, чему и служит "ословеснивание" себя, своих импульсов и пульсаций. Держать сознание открытым - разве это не сущностно? Но осознавать возможно ли в полную силу и меру, если ты не фиксируешь свое

присутствие, пусть даже не само течение (законы его нам недоступны), а акты присутствия? То есть само их сущностное отличие от отсутствия, которое должно ощущаться и как-то запечатлеваться. В акте названия что-то отражается из акта сознания. И когда Парщиков комментирует свою "Нефть", то он пытается придать неосознанности акта письма (сочинения стихотворения) ту потаённую осознанность, до которой наше внимание не доросло. Чем "мудренее" текст, тем более он нуждается в автокомментарии. И скорее именно по этой вот указанной причине, нежели по причине сугубо интеллектуальной. Стихи Лермонтова или Блока прозрачны, и отражение в них почти стопроцентное. Толкования и комментарии к ним становятся часто формой оглупления текста. Чехов ехал на Сахалин, чтобы осознать себя. Потому-то он пытался подробно описать каждый день и час своего долгого, тяжелого и унылого пути, открывшего ему всю пугающую таинственность пустого человеческого времени. Знал ли он об этом раньше? Конечно. Но понаблюдать за пустым, почти не вовлеченным в социальный контекст сознанием - вот эксперимент, достойный "русского мальчика".

Когда в нас преобладает плотское, похотно-чувственное, тогда и "мир" откликается грубо материальным, оскопленным. Тогда звезды и ветра ощущаются нами как холодные бездны, а земля - черствой и почти неживой, инертно-плотной. Но когда мы одушевлены, души вещей моментально начинают свою симфонию, перекликаясь внутренними созвучиями и касаниями. Вот почему мистики испытывают постоянный и ровный тихий экстаз. Они слышат ту музыку, что слаще, чем от наркотиков.

Разве аромат поэзии - цель? Он только способ поймать нечто, что и есть ты Сам.

Не красота должна решать, а "индейское сердце". У Бунина в "Грамматике любви": "Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой". Вяло и значит неточно. Бунин, увы, не был идеальным индейцем.

Начинаю читать новый роман (что случается всё реже) с поиска "непонятной ностальгии" в интуициях героев. И как часто эти их жажды

оказываются имитациями либо витиевато оформленными гнусностями.

Тайна жизни сегодня мелькнула в ощущении, что в тебе только твой, интимно твой суверен, и никакого иного, общественного, суверена не существует. И значит здесь невозможен диалог как форма дискуссии или проповеди.

День шестой

Первую половину дня занимался починкой: сначала забора, а потом крыши крылечка. С предвкушением вечерней баньки.

В деревне простота и смирение естественны, бунтарь и честолюбец здесь не приживется и не выживет.

Смирение чаще всего толкуют как кротость, то есть сугубо моралистически. Однако оно есть лишь интуитивное понимание, что ты всего лишь наблюдатель того, что тебе не принадлежит; тебе открывается лишь то, на что ты "запрограммирован" или, другим словами, чего ты заслужил. В подлинном смысле мы воспринимаем и изучаем только самих себя. Ибо мы твари. Вот почему смирение онтологично, а гордыня признак глупости. Кротость - не идея, не психический тренинг на угашение воли к жизни, а само существо медитации, внутри которой мы родились.

Снова подумалось, что нынешние знаменитые поэты героизируют нового человека, даже порой "вечного человека" (бессмертного), но не настоящего или истинного.

В вещах, в сущем, в человеке довлеющий объем недоступен ни для какой "разумной" рефлексии.

Мы, русские, конечно, сироты на празднике жизни. (Перечитываю, то есть просматриваю "Петера Каменцинда" Гессе). Но тому, надо полагать, есть причины. Родиться в России и быть нерелигиозным существом (имею в виду клеточный уровень) - значит обречь себя на

мрак и жуть, на собственный позор и посрамление. Сам ландшафт, сами его флюиды, требующие внимательнейшего и кроткого всматривания и вслушивания, говорит не о празднике жизни, а о каком-то совсем ином предназначении.

Земля не есть тупое механистичное единство. Мы видим, к чему пришло человечество в любопытствующе-алчном броуновом перемещении по земному лону. Предназначение этноса связано с сущностью и мистикой ландшафта. Который вовсе не есть картинка или предмет эксплуатации. Расселение этносов по лику земному было устроено Хозяином с неизмеримо более провиденциальными основаниями, нежели мы способны предположить. (Не случайно бесчинно-бандитское заселение Америки англосаксами привело к бандитскому профашистскому империализму: на чужой земле можно было только делать деньги).

Пойдя по дороге бесстыдства, человечество утратило тонкие связи с землей и с природными вещами. Изначальный человек, то есть человек стыдливый и застенчивый, укромный и смущающийся, уничтожен напрочь. Но лишь смущенный человек был способен воспринимать полубогов и богов. Вспомним сохранившиеся портреты древних египтян, особое свечение их лиц счастьем благодарности. А потом вспомним портреты древних римлян. Вот она, точка кошмарного разрыва и точка отсчета.

У идеи возвращения много ликов. Поставим цель вернуться к смущающемуся, застенчивому человеку и сразу обнаружим, на каких путях мы потеряли его. На каких путях мы потеряли императив недеяния.

Даже в низвержении в последнюю бездну человечество не поймет, что погубило его не некое inferнальное воздействие извне и даже не бесконтрольная жажда денег, а простейший вирус: бесстыдство. Именно оно делает все труды и все усилия (в том числе так называемые творческие) холостыми; и не просто холостыми, но тлетворными.

Бесстыдство, ставшее универсальным стилем общения как элит, так и плебса, привело к разнузданности делания. К разнузданности говорения. К разнузданности желаний и требований. К разнузданной

эксплуатации природных талантов. К тотальному невежеству, толкуемому как всезнание.

Сущность **видения**: оно открывается существу целомудренному. Ученое человечество давным-давно забыло, что называемое нами мирозданием есть нежнейшее существо.

Богатство, изощренность и пышность, пришедшие в нашу филологию (в широчайшем смысле слова) есть симптом нарушения священной границы.

Чувство реальности не может быть изощренным.

Лишь тот, кто побывал в поре Предсмертья, способен постигать эманации корневища Древа. Парадокс жизни в том, что за периодом Предсмертья, даруемым не очень многим, следует смерть. Когда бы этот период давался многим, а после него еще была бы дана отсрочка, то колорит человечества, я думаю, изменился бы. Настоящие поэты и художники тем или иным способом проживают эту пору Предсмертья и тем самым прикасаются к тайным вибрациям Древа.

Разве Демиурга порождает наше мышление? У столь Обширного Хозяйства не может не быть хозяина. Разве это мышление? Это здравый смысл. А еще - интуиция присутствия, говорящая, что истина пребывает не посреди гносеологии.

Сегодня если мы найдем причастного к духу человека, то в информационном смысле он окажется идиотом, а в концептуальном - младенцем. Русским Иванушкой-дураком.

Человек гибнет от избытка.

Виртуозность накрыла культуру стальным колпаком. Её вездесущсть. Ее мертвенный глянec даже в отношениях между людьми. Всюду она убивает простое и естественное дыхание поэзии. Сплошная демонстрация мастерства, таланта и фокусничества. Как же там уместиться замарашке душе? Которая и в зеркало-то стесняется посмотреться, настолько она едина с сущим. Виртуозность прет из анклавов

машинной безупречности, стремительной ее агрессии.

Мандельштам свел с ума всех поэтов своей легчайшей отмашкой во все стороны сразу. Но он поэт несмотря на виртуозность. Подражать ему в виртуозности - погибельное дело. Это все равно что подражать виртуозности прозы Андрея Белого.

Еще Жан-Поль заметил, что часто путают "философский и поэтический инстинкт (как единое целое. - Н.Б.) с художественным инстинктом виртуоза". Ныне философско-поэтический инстинкт уже вообще никого не интересует. Ибо он ведь не "эффективен", не дает просчитываемых рукоплесканий толпы, пришедшей на концерт.

Вы панически боитесь банального? Позвольте вам не поверить. Отчего же вы устремляетесь в Нью-Йорк и в Венецию? Отчего устремляетесь к комфорту и развлечениям, к богатству и славе?

Разве мог я удержаться от иронических усмешек при чтении повестей моего тогдашнего любимца Германа Гессе, где слово "тяготы" и слово "тоска" звучали в атмосфере и обстановке того почти запредельного материального комфорта и социальной защищенности, которые и не снились всем нам, а тем более моему отцу. И все же библейские драмы нас чему-то учили, поскольку царь Давид писал псалмы из своего последнего и абсолютного одиночества (не видимого извне, то есть экзистенциального). В этом смысле он приближался к переживаниям моего отца, долгими годами слушавшего морозный вой ветров в таежных землянках Вижая и Бурмантово. Здесь есть что-то от иронии Юрия Домбровского с его "Выхожу один я из барака...", где ощутима некая болезненная покровительственность к Лермонтову и Рильке. Конечно, там очень сложное чувство, почти неизъяснимое. И все же кто знает, чье одиночество и чья тоска были глубже: сибирского зэка или Михаила Юрьевича? Да, у М.Ю. "звезда с звездой говорит", а у Рильке: "зон с зоном". Но ведь они говорят друг с другом, но не с нами, не с тобой ergo sum. Не с Лермонтовым и не с Рильке. Одиночество. Да-с, как сказал бы Розанов.

Человек впал в сложность и пал. Мир велиара сложен, мир атмана прост. Душа проста и наивна, интеллект сложен и хитер. Душе

интеллект скучен и страшен, интеллекту скучна и страшна душа. И вместе им не сойтись. Тайна дхармы проста. Тайна материи бездонна.

Где нет простоты и наивности, там нет русской души, нет и атмана индийцев. Искусство "конца века" и постмилениума кишит симуляциями душевной жизни, где пускаются в изощренное фантазирование, коллажирование и ассоциирование, словно бы душа затаилась на дне "абсолютной метафоры". Философ Мардов назвал когда-то эту болезнь "псевдодушевностью". Впрочем, еще Достоевский притворился, что не видит различия между душой (всегда диалогичной атману) и тщеславно-самостной страстностью умной психики. Так что его попытки увидеть душу в сложных психических конвульсиях мало что нам дали. Исповедь Ставрогина (как и иные исповеди его "таинственно-трагических" персонажей) становится с неизбежностью изощренно-хвастливой интеллектуальной рефлексией. Всегда в итоге самопоенной, а не покаянно-творческой.

Невыносимость самодовольства Блюма-Джойса, невыносимость для моего (возможно, русского) носа. Чудовищный по перебору поток хвастливости, сплошная лапша на уши читателю.

Полное осознание своего "Я" возможно лишь на пути аскёзы и отрешенности. Никакая "сила ума" и "сила духа" здесь не помогут.

Но разве можно в искусстве обратить на себя внимание простотой? Разумеется, не обратишь. Но тогда не говори, что твое искусство тебя исцеляет, а не заводит в последние тупики.

Настоящий поэт - алхимик, исцеляющий свою отравленную веком душу. Вот почему его опыты крайне редко могут быть кем-то замечены. Он "изгнанник", однако вовсе не в иную страну на карте мира.

День седьмой

Перечитывал том Германа Гессе, и снова бросилась в глаза комфортабельная устроенность его персонажей. Устроены даже странники и бродяги, даже "безумные" поэты и "социальные отщепенцы", даже монахи и отшельники. Невозможно без юмора видеть это измерение западного комфорта, которое житель Германии и Швейцарии примышляет к таким же естественным факторам как воздух и вода. Вот почему столь мелко дно (основание) тоски его "гениально-позитичных" героев, столь неглубоко, столь орнаментально. Автор не чувствует кукольности всего этого самодовольного театра. Монахи в монастыре близ Цюриха, кушающие шикарное жаркое и запивающие его отменным вином столетней давности, выписывающие в келью новинки литературы со всего света... О каком понимании нас (я не говорю уж о Христе или атмане) здесь может идти речь? Даже живущий в абсолютном комфорте сегодняшний "новый-новый" русский понимает (хотя бы спинным мозгом), что его жизнь: а) противоестественна, б) греховна, в) пошла. Он понимает, что истинный человек так не живет и не может жить, он чувствует эту пограничную линию, им нарушенную. По ночам он чувствует, что он свинья и сволочь. Но вырваться из морока уже нет сил.

Цивилизация, не чувствующая греховности комфорта, отрезала себя от путей к истине. Это одна из фундаментальнейших интуиций русского сознания. Одна из дыхательнейших истин. Ощущение бедности в её чистом модусе как неслыханной красоты. Восприятие роскоши как уродства.

Да, этичен лишь истинный человек. И все же чуть с другого конца: какво основание этики? Достаяю с полки огромный том "Мокшадхармы", который в этом моем домике уже много лет: "Сущность Освобождения - рассечение уз Камы (страстных желаний, жажд). Тайна Ведения - правда, тайна правды - самообуздание, тайна самообуздания - отдание себя, тайна отдания - аскёза, тайна аскёзы - отрешенность, тайна отрешенности - счастье, тайна счастья - покой, умиротворенность".

"Откуда Праведность, оттуда и правда; всё развивается Правдой".
Интуиция зерна мироздания. Первозерна, первосемечка. Онтология.

О трехстадийности жизненного пути сегодня говорить бесполезно: мир расположился всецело в пространстве чувственно-эстетической стадии и настаивает на её единственности. Душевное подменено эмоциональностью психэ, сентиментальностью сытого чрева, а духовное понимается как утонченная область интеллектуально-эстетических вибраций, где отдельным второстепенным параграфом допускается категория "нравственности". Но поскольку нравственность это всегда нравственность нынешнего "растленного рода" (как писал поэт), то к этике, понятно, она не имеет никакого отношения. Таким простым способом этика аннулируется, с ироническим презрением изымается из сферы внимания. Даже поэтами не достигается великая вершина, где згосамость в забвении и где открывается измерение Я Есмь.

Однако современный сапиенс хитёр: способен двигаться по трем стадиям внутри замкнутой сферы чувственно-эстетического околотка. Неплохой кокон, не правда ли? Как раз об этом написал сегодня письмо одному человеку. Вот только как его отправить?

Напомнил ему индуистскую традицию. Еще законы Ману определили четыре ашрамы (стадии жизни), из которых первые три были обязательными: состояние ученичества (брахмачарья), домохозяина, отшельничества и санньясина.

Каким образом нашим далеким предкам удавалось многие тысячелетия жить счастливо вне суеты "прогресса", вне гонок и обгонов и состязаний? Каким образом они не нуждались в революциях и реформах, а духовный потенциал общества не падал, а сохранялся? Ответ прост. От поколения к поколению передавался целостный духовный архетип. В.С. Семенцов (знаток "Гиты") называл это передачей личности учителя ученику или "духовным рождением учителя в ученике". Центром традиционного общества и была система сохранения и передачи духовного архетипа. То есть психика была фундаментально иной. Современный индивид жаждет сосредоточения внимания на одном себе и с гонором не меньшим, чем у Ницше.

А вот как описывает "Махабхарата" энтелехию древнеиндийского поэта: "Покинув деятельность природы, всегда радующийся Атману муни, став душою всех существ, идет путем высочайшим; как водой не умокаемая водяная птица". Какой образ! Пройти, не оставив следов. Не замавав изначально чистый универсум.

Ты занимаешься либо духовной практикой (то есть внимателен к своей минуте, к её объему и качеству), либо эстетической. Третьего не дано.

Такое впечатление, что сегодня объемные души уже не воплощаются на Земле. Сплошное душевное плоскостопие, с опорой на "чакру" сексуальности, ставшую основой для всех остальных манипуляций с энергиями. Впечатление, что сама свобода творчества пришла в современность из элана полной сексуальной распущенности. Многие романисты ну просто не могут ни о чем другом писать. Пишут вроде о другом, а из всех дыр и трещин выползает всегда это самое.

Когда-то у нас был на всю страну один сорт пшеничного и два сорта ржаного хлеба. Но были они добротны и чисты. При капитализме появились десятки, а потом и сотни видов и форм хлеба. Но все они плохи и нечисты, и всё хуже и хуже качеством. И чтобы найти хороший хлеб, приходится идти по следам старых рецептов. Но так - во всем, ибо хорошее невозможно изобрести, выдумать, измыслить, придумать, смастерить, изготовить. Хорошее вырастает: из чистых, незагрязненных корыстью помыслов и из чистого, наивного сердца.

В наше новое время писатель (а тем более артист и режиссер) - персонa в основном по понижению душевного и духовного уровня населения. В этом его основная задача, именно за это он получает премии и поощрения из фондов.

Почему нужно аплодировать человеку, нагло эксплуатирующему свой природный дар? Разве он пустил свой дар на доброе дело, а не на личный успех и обогащение?

День восьмой

Время от времени ловлю себя на острых ощущениях потерь и на воспоминаниях о полузабытом или о забытом полностью. И это забытое - необычайно важное и дорогое. Вспоминаю дома и квартиры, которые в разное время мне принадлежали или где я селился. Но я не помню точных адресов: они каждый раз истаивают у меня на глазах словно в тумане. Я помню лишь приблизительно эти места и пути к ним, но даже оказавшись там, не могу вспомнить, куда подевались ключи; а иногда, подходя к дому, вдруг забываю напрочь номер квартиры и начинаю путаться в подъездах. Помню до подробностей обстановку нашего маленького дома на земле, который мы с кем-то делили, помню жизнь, которая там у меня была с моей любимой, помню события, но не помню причину, по которой однажды забыл туда дорогу. Я словно бы прожил две жизни почти в одновременности и одна засыпала другую каким-то туманом, снегом или даже землей.

Сугубо важно наблюдать присутствие своего Сознания. Да, именно: тавтологичность. Не забывать о присутствии Вневременного Наблюдателя, которого ощущаю толчками и озарениями в течение всей жизни. Когда бы самому им стать!

Истинно русский человек не опустится до рассуждений о свободе, о либерте. В одной старинной китайской книге прочел: "Ни одна душа извне не способна управлять нами изнутри; когда мы это осознаем, придет свобода". Мудрёно, хотя и просто.

Свободой кое-кто назвал разврат (французское "либертин" и есть распутник), в том числе обжорство. Обжорство странствиями по континентам, городам и весям, по "священным местам". Обжорство чудесами и эгопомечаниями: "я здесь был": эгозахват всего и вся. Аскёзу социализма отдали за капиталистическую алчность без берегов. Выросли прегромадные губы и животы. И вечный "поэтический" припев: "Только этого мало!" Притом, что отнюдь не только заведомые "пошляки" поняли свободу именно так. Даже изысканные поэты и поэтессы поняли это именно так.

Свобода впихнуть в себя весь земной мусор.

При капитализме реальна одна-единственная эстетическая категория: низменное. Ее инерционно называют красотой, хотя то всего лишь сексуальность ночных притонов. Возвышенное - это то, что возвышается над интересами эгосамости.

Мир, похоже, возник как абсолютная медитация. Медитация в нас начинается с отключения мыслей, интеллектуального бормотания, с речевой немоты, которая, кстати, ведет к закрытию "сексуальной чакры" и к естественной аскезе.

Мир, ставший ныне неимоверно болтливым, с поразительной одновременностью стал чревно разнуздан и чревно алчен. Причастными к мистерии (неважно, в каком варианте и смысле: к мистерии дионисийской, или бёмовской, или чаньской) мы становимся лишь в пустотные моменты. Они-то и есть наше возвышение над алчно-смертной, глупой, болтливой самостью. А возвышенное как эстетическая категория - это всего лишь трюк из театрального реквизита поз и фокусов-покусов. Все позы внутри эстетики - туман и пар, психическая взвесь. Поза иронического прищура? Пожалуйста. Поза мистического парения? Извольте. Хотите, сегодня я напишу вам изящный роман из жизни педофила и душегуба-маньяка, а завтра - трогательный роман из жизни святого? Такова цена сегодняшнего возвышенного. Всё это формы дуракавалянья изнутри черных недр зготщеславия, пожирающего духовный гумус, его остатки на своем пути. Превращающего всё возвышенное (этику Христа, этику древних мексиканцев, этику "Гиты", этику Будды Гаутамы etc.) в фарс. (Творения Пелевина - красочный тому пример). Но читатели при капитализме едва ли воспринимают этот фарс как кощунство. В той смоговой низине, где мы бредем, кощунства неощутимы по вполне понятной причине.

Возвышенное - это либо безмолвие истины, либо Присутствие, актуально переживаемое. Оно глубоко субъективно, то есть экзистенциально. Возвышенное приходит не с темой и не с материалом, а с чистотой сознания: парение.

Ценно и подлинно лишь натуральное "безмыслие" естественного, целомудренного (глубинно стыдливого) человека, пребывающего в ритмах покоя и безмолвия.

Шри Рамана объяснял, что наша болтовня (даже самая изысканная) блокирует трансцендентальную речь, являющую себя в молчании. Трансцендентальная (нечеловеческая) речь (я думаю, подобно космическому излучению) непрерывна, но мы ее не слышим. Святой сообщал буквально следующее: "В молчании человек имеет сокровенный контакт с окружением... Сама истина толкуется молчанием". Соответственно, чем мощнее блокада человеческой речью, тем плотнее стена между нами и сокровенным. Чем больше мы говорим и пишем о сокровенном, тем плотнее мы от него закрываемся.

"Молчание - непрерывный поток "речи", безмолвного языка, блокируемого словами". Молчание - абсолютная, не знающая смерти речь, подлинный изначальный логос.

Трансцендентальная речь, вероятно, была райским способом общения. Из этой речи мы были изгнаны в речь звучащую, в филологию с ее приоритетами и целеполаганиями, с ее дихотомиями и подразделениями, с ее символами и понятиями, тем самым оказавшись пристегнутыми к машине интеллекта.

В Маханарааяна-Упанишаде: "Только тот есть Высочайший Господь, кто находится выше Первоначального слова, которое есть начало и конец Вед и в котором пребывает творческая Причина".

Изначальный Господь дал начальное, корневое Слово, но не людям и не в их обыденное пользование, а для Вед, как творческо-причинную энергию и кодекс, кредо.

Культура Европы достаточно быстро забыла о сакральности слова, сделав из него инструмент торговли (мыслями) и ментальных манипуляций (махинаций). Вот почему "в Начале было Слово" для западного интеллектуала означает вброс себя в эстетский интеллектуализм, в бешеную деятельность умничающей эго-самости.

Поэтам, романистам, филологам (в широком смысле слова) эта гипотеза неприятна? Что делать. Но даже Ницше и Розанов подозревали, что именно филологи (в широком смысле слова) погубили чистую плерому сознания.

В книге "Изгнание в язык" я писал, что некогда мы были изгнаны в нынешнюю форму звукового формализованного логико-символического языка за свою духовную деградацию. Реакции на эту мою книгу (впрочем, вышедшую очень маленьким тиражом) почти не было. Впрочем, один знакомый писатель сказал: "В качестве шутки это еще куда ни шло. Но всерьез? Нам с детства объяснили, что обезьяна (или неандерталец) человеком стали благодаря труду и языку. Горы книг написаны о происхождении языка посредством медленных накоплений..."

- И ты этому поверил? Скажи уж тогда, что это человек сотворил язык, а потом и богов. А как же Адам и Ева в Эдеме? Разве они трудились? И разве же они болтали? Они общались с Господом и с существами трансцендентальной речью. Речью, в качественном "цимесе" которой присутствовал весь объем универсума при верховенстве небесных архетипов. Это же так ясно, и так просто, и так очевидно. Ведь даже нынешние святые сообщают, что души общаются молчанием.

Мой писатель насупился и набычился. Еще бы, все привыкли к воспеванию людей речи, вакхантов словес. Признать, что именно филология (в широком смысле слова) завела человечество в тупик и в крах, - такого мужества ожидать от элит было бы крайне наивно. Совершив вдруг (предположим) глобальный Поворот (намек на который и план которого представил в свое время Хайдеггер в виде теории "другого Начала" мышления, философии и поэзии; план этот и его смысл толкуются сегодня по-разному), укрепись человечество в Молчании, в чистом безмолвии вслушивания в трансцендентальную Речь, оно бы, вполне вероятно, выросло в духовный монблан, а не истребило бы только за пятьдесят последних лет 65 процентов всех видов живого. На последнее способна только самовлюбленная тварь, которую и скотом-то назвать было бы слишком много чести.

Любая чисто светская культура неизбежно кончает распадом, разложением, если в этом эстетическом бульоне не стоит сияющая серебряная ложка совести как знак Высшего покровительства.

Мудрецы подчеркивали, что обилие и многообразие мыслей - от слабости глубинного ума. (Эту же мысль я слышал в отрочестве из уст моего отца). Признак силы ума - сосредоточенность на Одном-едином, полнота и нежная сила внимания, ибо только она приводит к любви

как к естественному благу и блаженству. Поток мыслей - это не жизнь, а тарактеные машинки интеллекта, это блуд, а не любовь. Жизнь есть восприятие света Сознания, освещающего полноту идущего на нас Потока. Мы можем видеть мир оком этого чистого бессмертного сознания. Это око и око наше, тленно-собственное, есть одно единое Око. Почему Эххарт и говорил, что в момент полноты созерцания сама Плерома смотрит на нас.

Иисуса Христа наши поэты часто называют: "кому Слово дано" или просто Словом. И таким образом они думают, что через это (благодаря этому) человеческое слово тоже причастно сакральности. Окститесь, братья! В чем существо слова Христа? В этике и в дхарме! Он ведь прямо сказал: "Слово мое не от мира сего!" Да, он сказал чуть иначе: "Царствие мое не от мира сего!" Ну так что ж, это же еще более мощно и недвусмысленно. Чара слова, речевой красоты и пр. заслоняет от нас чару того, что пребывает в потрясающе громадном промежутке между словами, между семантическими блоками, между абзацами, страницами, между концепциями и книгами. Разве не этику Христос дал в качестве ключа к "царствию небесному"? (Никаких иных форм познания истины нет, ибо все иные ложны и погибельны: так сказал он суммой своих слов, притч и умолчаний). Какое же он Слово, какой же он артист, логик или интеллектуал? Он этик духа, а не эстетик, оставьте свои домыслы при себе, господа сладкопевцы. Словом в его время были как раз фарисеи, толкователи Ветхого завета, горделиво назвавшие себя и своих присных "народом Книги". Иисус как раз против чары Слова. Он за чару этического действия самоуменьшения: предельного отказа от соблазна земного самоутверждения и воли-к-власти, даже в самых кажущихся невинными формах. Но нет более лицемерного и сладкого соблазна в его эпицентре. То есть в крайней точке от Христа.

У Олега Чухонцева:

Будучи русским, то есть ленивым.
я все свое написал во сне,
если не написал, то увидел,
вспомнил, вообразил,
и это главное, что осталось,

День девятый

Снова задумался о неизвестной мне причине самоубийства екатеринбургского поэта и новеллиста Саши Верникова в сентябре 2018 года. Мы дружили в девяностые, потом резко, после спонтанной телефонной дискуссии, разошлись. Он был помешан на сексуальном приключенчестве, пристегивая этот стиль к поверхностно понятому кастанедианству. Как-то он написал мне (в те же девяностые) весьма пространное неожиданно исповедальное письмо в ответ на мои очные ему дружеские упреки в эротоманстве. Суть письма: поскольку у него с детства распахнута "сексуальная чакра", то он не просто вследствие этого речевой гений, но по сути православный старец (на момент письма ему был 31 год) с той же силой извержения истины каждым словом и каждым жестом. Он писал: "Поймите же наконец, что надо верить мне абсолютно, безоглядно, доверяя каждому моему слову буквально и непосредственно и без каких-либо колебаний!" Изрекал он это, будучи не под алкогольными или мухоморными парами, с которыми охотно дружил. Вновь и вновь он педалировал на тезисе, что настоящее искусство (в частности музыка, авторская песня и поэзия) есть следствие полной раскрепощенности сексуальных влечений и их реализаций: мол, стихотворение или рассказ есть речевая параллель к эякуляции; чем бешенее и безоглядней выброс сексуальных гормонов, тем гениальнее текст: параллельный процесс. Человек стыдливый или застенчивый или просто "воспитанный" обречен быть в искусстве посредственностью, как бы он ни был богат образами, идеями, внутренней музыкой и экзистенциальным опытом.

Думаю, во многом он, увы, прав применительно к нашей эпохе, особенно начиная с серебряного века. Искусство стало порождением утонченного биологического цинизма делателей, почувствовавших себя в этом гормональном бассейне "безгранично свободными". Эпоха модерна - время бесстыдства и бесстыдных людей во всех сферах. Сам воздух насыщен этими плебейскими, уголовного истока флюидами. Искусство черной юги (раз уж мы заговорили о ней) рождается из асуровой раскованности как формы наглости: "свободы без берегов". (Вот и Цветаева это подтвердила в своей знаменитой статье). Целомудренный, застенчивый, смущающийся (изначальный) человек

абсолютно противостоит современному искусству и культуре. Они не нужны друг другу.

Какова природа словесной сдержанности? Чем глубже человек, тем яснее он понимает проблематичность всякого высказывания. И даже когда мудрый человек решается или пытается заговорить, его речь часто воспринимается как косноязычие, ибо она не нацелена на то, чтобы произвести (эстетический) эффект, вызвать приязнь или изумление. Вот почему сегодня тьмы и тьмы красноречивых, легкоступных и танцующих говорюнов во всех жанрах.

Не только женщины неизменно на стороне силы, но часто и поэты. (Маяковский, Пастернак etc.) А там, где поэт не на стороне силы (Блок, Есенин, Клюев, Ахматова, Мандельштам, Рубцов etc.), он выходит из игры либо "изымается из обращения". (Только не надо думать, будто при капитализме поэты не обслуживают силу; совсем напротив). Даже Булгаков в конце концов перешел под крыло пахана-Воланда. Иешуа, им изображенный, не тянул на Силу. А сатана хотя и нечистая, но все же мощь. Так помаленьку, потихоньку почти все колодцы культуры двадцатого века оказались отравленными. Хотя большинство граждан пило из них с удовольствием. А даосы как всегда не высовывали носа, отчего все думали, что их не существует.

В чем причина отравленности колодцев культуры? Да, увы, в таком вот столь примитивном: в бесстыдстве творцов, имею в виду бесстыдство онтологическое. Основным источником вдохновения служила широко распахнутая паховая "чакра". Было сделано внезапное (заново) открытие: ликвидация целомудрия дает лицензию на спонтанный поток красноречия и сладкопевности, равно как на "безбашенность" во всех иных искуcительных жанрах. Прикоснувшись к корню искусства как искушения, филолог попадает в поток вдохновения, который его несёт. Это легко увидеть по эпохам "внезапного взлета искусства", массового появления "гениев". Будь то пресловутый Ренессанс или наш "серебряный век". Что возрождалось там и тут? Моральная и иная разнузданность, промискуитет в разнообразных обличьях и формах (полу-дионисийство, полу-эклектика), основа которого, вероятно, решительно-разовое разрушении всех табу. Кажущееся дионисийство, ибо с тонким буржуазно-коммерческим

расчетом (С.Дали etc.) Впрочем, большевистский "ренессанс" стоял на той же сексуальной игре в уголовщину. (Вспомним, каким распутником отнюдь не спиритуальной сортности был Максим Горький, выступавший в маске "учителя жизни" и при этом вполне закономерно служивший делу русофобии; а уж о причастных к творчеству дамах той эпохи лучше помолчать). Элан этот был и с ярко подсвеченной наркотно-сновиденной составляющей. Пелевин в "Чапаеве и Пустоте" уловил эту связь кокаина, сексуальных притонов, поэзии "метафизического отрыва", бандитизма, сплошной сновиденности (переходы из сна в сон), сдобрив это (для коммерческого успеха своего опуса) варварски толкуемым буддизмом. Наркотический коктейль.

Сегодня эти колодцы питают еще и неслыханную всеобщую болтливость (речевой разврат), публичность самообнажения, которую и эксгибиционизмом-то назвать неловко, настолько это за пределами какой-либо культуры вообще. Отчего же нет гениев, нет великих? Когда все бесстыдно, всё бесстыдно, не возникает напряжения, нет электрического тока. Нет "разницы потенциалов". Нет ни мужчин, ни женщин: размытость, стертость, серость, полуживотная функциональность, нуль того идеализма, которым скрепляется душа с телом и с духом.

Несерьезное объяснение? Эротическое бесстыдство - недостаточно серьезная причина? Разве? Ведь оно ведет к тотальному бесстыдству. Тут споров нет. И разве корень всему - не семя? Разве мировая премудрость София - не девственна? Равно как весталки в Дельфийском храме. Разве не совокупление - высшая точка данной нам сакральной тайны? Разве полноту чувствования и постижения духовной сущности человеческой энергетики мы переживаем не в редчайших актах тантрического зрота?

Если нам не указ иные книги Библии и Евангелие, то доверимся мудрости Розанова. Если нам не указ этика наших предков, этика Вед. Отчего точкой скрепления союза Бога и евреев стала крайняя плоть? Отчего самые подлые слои населения сквернословят именно эту сферу? Чувствуют ее сакральность и облаивают. Добившись почти поголовного бесстыдства народонаселения Земли, велиар может почивать: род людской сокрушен, Господь с его проектом посрамлен. Финита ля комедия. Человеческая, слишком человеческая. Ничуть, ни на чуток не божественная.

Мудрые наши предки казнили не только за воровство, но и за мерзкое слово, а иной раз и за грязный взгляд. Паршивую овцу из стада вон. Уменьшится поголовье? Не это суть и цель. Душа растет не количеством, а качеством. За одну бранную фразу в адрес отца или матери древнееврейское законодательство приговаривало к немедленной смерти. Столь же безукоснительно карался цинизм в отношении всего, что связано с зачатием и деторождением. Без чистой речи не может быть чистого сознания, без чистого сознания не может быть чистых глаз.

Опять филология? А как же?

Распахнутая настежь речевая чакра должна быть закрыта посредством закрытия сексуальных врат и возвращения психосоматики к первобытному состоянию естественной потаённости.

День десятый

Трансцендентальная речь была идеалистична. Подобно людям сатъя-юги, почти летавшими над землей. Речью назойливой, слышимой человек был приземлен, прижат, втиснут в материю. Трансцендентальная речь была настолько же другая речь, насколько было другим Начало философии и поэзии, упущенное нами.

В нас живет Некто в виде осколка вечного сознания. Сознание есть зеркало и око. Оно одно, оно едино.

Известно от века, что высшие состояния сознания/души, а равно присутствие духа не поддаются словесному описанию. Уже одно это, казалось бы, должно остепенить пишущих, показав им границы, для нас очерченные, и скромное поле того, что доступно слову. Это весьма обыденный ареал плюс интеллектуальные чертежи, где для сообщения о подлинном бытии автор вступает в зону молчания, паузы, пробела. Глубокий и тонкий автор так и делает: смиренно признает профанность речи. Но и здесь он, увы, чаще всего лишь интригует тайнами, спекулирует на самой идее тайны.

Будущий шестой патриарх чань, в то время неграмотный паренек, собиратель хвороста и дров, достиг просветления, когда однажды услышал слова из Алмазной сутры: "Вы должны развивать свой не-ум, который пребывает в нигде". Прежде он много размышлял о местопребывании не-ума, то есть другого ума, не того, которым пользуются люди, не того ума, который приводит к такой их гниющей сумрачности и к таким их нескончаемым склокам и унынию.

Я спрашиваю себя: много ли эстетической красоты в строчке, которая открыла ему простор истины? Миллионы красивых строк всей поэзии мира не сдвинут и атома в сознании омраченного искателя. Сдвинуть камень на тропе к истине может лишь слово просветленного. Но просветленные не пишут стихов, ибо знают, что в реальном измерении существует лишь один вид красоты - красота духовная. Хотя она и может быть внезапно воплощена и материализована.

Строка из сутры словно громадная молния, ударив, мощнейшим светом расставила все вещи по их истинным местам. Оказалось, что высший (истинный) ум пребывает в топосе, недоступном для общества: в нигде. Это как посреди тайги верно найденное созвездие.

Освободи себя из тюрьмы, в которой сидит твой гуру. Освободи себя от потока информации, непрерывно навязываемой тебе.

Испытываешь любопытное чувство, когда живешь в чужой стране, не понимая языка аборигенов. Говорок непонятной речи - как фоновое таинство. Растения и звезды выходят на первый план. Речевая семантика уходит, очищая твой ум. Вначале, в первые два-три месяца, это слегка пугает. Люди становятся загадочными и значительными. Ты то ли приписываешь им природные смыслы, то ли возвращаешь им то, что отнимает у них суетная речь.

Жажда обогатить язык. Зачем? Чем же мы его обогащаем? Машинными терминами из чужих уже загаженных языков.

В свое оправдание проповедники бесстыдства часто ссылаются на Пушкина, сказавшего как-то, что поэзия выше нравственности. Но тут важно, чья поэзия и чья нравственность. Поэзия Пушкина, безусловно, выше общественной нравственности круга, в котором он жил. Как писал другой поэт: "Но есть и божий суд, наперсники разврата!"

Поэзия Заболоцкого или Арсения Тарковского была бесспорно выше общественной нравственности их времени. Поэзия Тракля безусловно выше нравственности "растленного человеческого рода", к которой он был по акту биологического рождения причастен (что и сводило его с ума). Но вот стихи Маяковского, призывавшего "делать жизнь" с каннибалов Ленина и Дзержинского? Что тут выше: поэзия или нравственность?

Если же говорить о нравственности как об этике, то есть как о божеском законе, живущем в человеческой груди независимо ни от каких моральных общественных трамбовок, то тут всякая эстетика, всякая поэзия почувствует себя смущенной, ибо ощутит вибрации самой оси мироздания. Вокруг стихов Баркова звездные миры не вращаются, но вокруг блаженства Будды или Лао-цзы организуются миры существ и планет. Исполненные нарциссизма, а в ряде случаев и расизма стихи Иосифа Бродского едва ли повысят нравственность человека средней порядочности. Они служат эстетике, о чем вполне официально объявил поэт-нобелиат.

Порядочно ли было делать достоянием общественности письма Джойса к Норе, исполненные приватно-эротических забав, а тем более причислять их к "высокой поэзии"? Но, во-первых, понятие порядочности давно "не в тренде" и может присутствовать только в сугубо ироническом контексте. А во-вторых, как не перейти границу, когда смысл поэзии объявлен именно как переход всех и всяческих границ, а письма к Норе как раз центрированно разрушительны к табу.

С одной стороны - наглость, нарциссизм как основания нового искусства. С другой стороны - архаика высшего искусства ("художества из художеств"): праведная, мудрая жизнь. (А не изысканные или знаково-утонченные рассуждения об одной). Это и есть диалектический эпицентр поэтического модуса.

Может ли жизнь падшего рода быть прекрасной? В той мере, в какой прекрасна вакханалия орков. Дионисийство скверной пробы, со вкусом сургуча и помоев. Иное дело плач поэта по поводу падшести, искренность горя по этому поводу, пусть даже подобная ритуальным песням вопленицы.

Истинное искусство (нечто безыскусное, питающееся изнутри канала *я есмь*) всегда росло из семени идеализма. Материализм - гробовая крышка на всяком творчестве. Хотя не отрицаю правоты Алексея Лосева, предлагавшего отказаться от антиномии идеализм - материализм. И в самом деле, часто ли мы видим дух вне телесности? Разве листочки дерева не трепещут духом? Разве древо жизни не есть чистый дух?

Не надо создавать произведение искусства. Нужно жить в духовной работе. Произведение лишь повод и случай.

Душа - океан, эгосамость - пузырек на поверхности океана.

Искусство и поэзия (как образ внутренней жизни) - разные вещи. Поэзия - это не стихи и не музыка, вызывающие восхищение и желание кричать "браво!" Поэзия - это непостижимое, невесть откуда идущее неуклонное желание подключиться к тайне, ответив на вопрос "кто я?", "зачем я?" Всё, что не помогает этому, всего лишь ворует твоё время.

Поэзия выродилась в литературу, в искусство словесного эффекта. Эффективность воздействия на рецепторы приучили называть красотой. Когда это случилось? Вероятно, очень давно, и в сущности мы поэзию как атмосферу жизни уже не застали.

День одиннадцатый

Живу контрастом между долгими-долгими прогулками по чудесным проселочным дорогам и тропинкам (доминирует в почве песок, а не глина, точнее: здесь дан их гармонический союз; более утонченно-нежного песка на берегу местных тихих озер не выдывал в жизни) и рефлексией, внезапно приходящей и столь же внезапно меня покидающей.

В пику многим полагаю, что мы живем все же не в ожидании, а в Чистилище. Хотя есть и иная точка зрения, выраженная бескомпромиссно Евгением Головиным: "Там, где мы, там центр Ада".

Поскольку мы напрочь оторваны от небесных архетипов. Без посредства богов мы вне космоса, то есть лишь мешки с требухой. Так-то оно так, и все же мы в фазе возможности активнейшего очищения. Чем больше препон, тем больше заслуга.

Когда Гёте, нацеливая молодежь на хорошие переводы поэзии, говорил о приближении к подстрочнику, то имел в виду, конечно, не судебно-медицинскую протокольность, но "высший пилотаж" подстрочника, постигающего подлинное, а не только внешнее содержание стихотворения. (Впрочем, здесь скрывался и не менее важный подспудный смысл, ярко выраженный, например, в признании нашего большого философа и не маленького филолога В. Библихина: "... я всё больше возвращаюсь к началам старого славянского "буквализма", или подстановки, или просто смирения"; это он о своем переводе "Бытия и времени" Хайдеггера). Но Гёте говорил и большее: "По-настоящему действенно, формируя душу и развивая человека, то, что остается от поэта, когда переведешь его на язык прозы. Тогда остается чистое совершенное содержание..." Которого, как он пишет дальше, часто не оказывается, ибо пафос стихов ушел во внешний блеск и фонетическую миражность. Под таким углом зрения значительная часть современной поэзии (да и прозы тоже) непереводаема, ибо пафос стихов (да и прозы тоже) с невероятной решительностью повернут в сторону созидания фонетико-аллюзивной звесы, синтетической, ментально-виртуальной пурги и иронического тумана, одновременно гиперинформативного и ассоциативного, непрерывно разрушающего все предыдущие намеки на определенный смысл и на "чистое содержание". В этом новейшем цивилизационном пафосе (я бы назвал его гиперпафосом, сколько бы ни вкладывалось туда оговорок и кавычек) новых покорителей мира (покорителей в роли поглотителей всех пространств и всех пейзажей, равно как и всей открывшейся информационной ойкумены), присутствует некая постоянная претензия, прямо противоположная емкой, мудрой кротости прежней (гётеанского извода) поэзии, исходящей из понимания несоизмеримости смысла и содержания универсума и смыслов, доступных человеку. Посему современные поэты-переводчики верно говорят, что между оригиналом (стихотворением или куском поэтической либо модернистской прозы), воспринимаемым тобою, и тобою, ищущем эквивалента на родном языке, лежит некая черная

пленка, которую и надо вывести в русло родного языка. Перевод в старом смысле невозможен, ибо нет содержания, о котором писал Гёте. Поэтому переводчик вынужден понимать, что создает он не перевод и не переложение и даже не парафразы или стихийные отклики-реминисценции, а делает нечто иное: воссоздает на родном языке своё переживание оригинала. Мы возвращаемся здесь к древней истине: языковая форма непереодима, она просто естует как всякий мираж; форма несубстанциальна, субстанциально сознание; а оно являет нам себя либо в актах чистого созерцания, либо в переживаниях смыслов, где главный: вот я здесь перед тобой, Господь! И не столь важно, кто и что стоит за этим "Господь" - некая Сила, которая несомненно даст энтелехии ваймарского труженика дальнейшую судьбу, мировая Душа или Тот, кто укрылся за "псевдонимом" Я Есмь Суций, оставив свое сияющее присутствие в каждом сердце, даже если оно замкнулось и почернело от горя и страха.

А что касается "гётеанского извода", то вот любопытный штрих: большинство лирических стихов написаны Гёте "на случай" (как и у нашего Пушкина); здесь невольно вспоминается Бах, большая часть произведений которого тоже была сочинена "на случай". Никакого "чистого" творчества, рассчитанного на публику; нечто иное. Это хорошо понял Альберт Швейцер.

Я бы предложил хайдеггеровское Da-sein переводить как *вот-оно!* Бытие - как выстрел под ухом - каждый раз открывает себя внезапно, "вспышка за вспышкой". Разумеется, эти проблески, эти охваты тебя неведомой обнаженностью идут из ареала Дао.

Но тут встает вопрос: а как же тот истинный поэт, который, по Анненскому, любит одно-единственное: *невозможно*, то есть саму невозможность? Что делать с этой *тоской* человека по невозможному, по нереальному в нашей мнимой реальности, по несбыточному, по очевидно недостижимому? Что делать с этим тревожным, из ниоткуда являющимся влечением, побуждающим иногда поэтов думать о добровольном уходе как о попытке схватить невозможность?

А не полюсы ли это чего-то? Иногда мне кажется, что два этих инстинкта: вспыхивающе-блаженное *вот-оно!* и тоска по несбыточному, по тому, что в сущности даже и невозможно оформить в словах и

даже в поддающихся прорисовке образах-набросках, - как-то соотносятся, соприкасаются на каких-то уровнях. Ибо сама ткань того, что именовали некогда как чань (вещь давно ушедшая, остался только отблеск, шорох и запах) - исключительно тонка и своеобразно мистична, она улавливает именно сверхъестественное в естественном, то есть сам исток естества и его первоэнергию, эту кажущуюся его осязаемость и постижимость, улавливает сверхъестественные ритмы в естественных, и тогда нам становится понятна вся чудовищная глубина недостижимости, мы начинаем чувствовать всю мощь невозможности, которую носим в себе. Мы чувствуем, что просыпавшийся из чашки в руках горох летит в космическую бездну, в никуда и что каждая горошина - это огромная планета и что моменты столкновений есть нечто абсолютно таинственное. Для возможного мы предопределены, но в невозможном, в его точках мы соприкасаемся с предельным, с пограничным, с тем, где "сказка твоей жизни" (в розановском смысле) могла бы случиться, но ускользнула. И ты не знаешь настоящих причин этому. Стоишь в остолбенении и пьешь, чтобы заплакать.

Конец поэзии не только потому, что все стали равнодушны к этике (к тайне устройства универсума, устройства настоящего, а не метафорически-бутафорского) и устремились к одиноко-отрешенному экстазу художественного (в смысле чувственного, то есть бессовестного) миросмакования, но еще и потому, что сама художественность не просто износилась, но извратилась, ибо пошла на осознанное понижение (требовательности к себе) уже давно.

Мироздание есть Душа. Таково его устройство. В этом исток корреляции между "идеальным" и "реальным".

Иосиф Исихаст: "Добрые поступки, и милостыни, и вся внешняя доброта не смягчают надменности сердца..."

Начинаю читать новый роман с поиска исихастских потребностей и интуиций по крайней мере у главного героя.

Изобразима ли вневещественная жизнь персонажа? Лишь косвенно, весьма косвенно. Даже в форме исповеди. Тем более если речь о

жизни, толкуемой как непостижимый к тебе императив. Но если исповедь не гениальна, то - провал.

Лев Толстой: чем выше статус лица, тем он несвободнее. Еще бы. Самый свободный человек - юродивый.

Профессия "писатель" стала массовой. О чем это говорит? О полной девальвации слова или о чем-то еще? Да, конечно о "еще": о массовом бесстыдстве.

Творчество связано с уяснением самому себе чего-то чрезвычайно важного. И чтобы это уяснить, надо проделать работу бесстрашного перепросмотра всей своей жизни, чтобы связать концы всех сокровенных порвавшихся или оборванных струн.

Любое исследование (во всяком случае гуманитарное) оправдано лишь в том объеме, в каком и пока оно дает тебе самому целящую основу. Когда же любопытство и пожар фантазии, фантазирования захватывают "исследователя", он становится на тропу совратителя, на тропу скользких допущений под грифом "всё возможно" и тем самым вступает в сговор с демонами. Нет у нас права на беспредельность воображения, ибо оно утягивает нас в пучину "виртуального могущества". Эстетический фашизм и есть сплошные заманки "пройти в наполеоны".

Когда становишься интеллектуалом, почти всегда уже не видишь того, *что есть*. Действительность при этом всегда виновата. Она недостаточно хороша. А сами мы - хороши. Таков был Ленин. Таков весь перманентно революционный класс. Он живет в "идеальных" проекциях, то есть в проекциях своих идей и занимается чем угодно кроме одного-единственного дела, которое заповедано каждому: оставаться недовольным собой и трудиться денно и ночью над своей, да, как ни прозаично: душой. Интеллектуал придумывает мир как восхитительно рациональную парадигму и навязывает ее тому, *что есть*. Вместо того, чтобы ощущать себя пустотой, он рассуждает о пустоте.

Остается спросить: а ты сам-то разве не интеллектуал? Пытаюсь им не быть, - лепечет эго, прячась за спину атмана.

Исследование чужого в качестве чужого, а не своего - цинично и одновременно идет по неверному пути.

Для знания вовсе не нужны горы знаний, информационных полей, что множатся с каждым часом. Знание всходит, прорастает и вызревает во внефункциональных паузах уединения.

Вселенная возникла из Правды - так говорят Веды, Махабхарата и Упанишады. (Что не противоречит моему предыдущему утверждению). Так говорит и наша русская интуиция. Когда нам каждодневно вбрасывают в уши тысячи сообщений о трагедиях во всех концах света и обо всех низостях человеческих во всех околотках мира, то это не правда, а пропагандистская "мозговая пурга". Правда заключена в сообщениях о том, что произошло в нашем собственном околотке: деревне, поселке, районе, городке. Здесь всё случившееся касается нас душевно. Всё, что далее этого: по слухам, то есть касается нашего интеллекта. Правда лишь в том, чему есть живые свидетели, которых мы знаем. Правда устроена так, что соразмерна нашему естеству: мы реально откликаемся на происшедшее, скорбим по реальным людям и реально негодуем, реально радуемся. Всё, что сверх, - ложь, насильно вбрасываемая в нас. Ложь, рассчитанная на наше любопытство и тщеславное желание знать всё. Правда не растет из виртуального и умничающего.

К вопросу о точности слов. В десятках биографий Иосифа Бродского написано о ссылке его "на Север". Вот и в "Диалогах..." Соломона Волкова та же пужалка. Смотрю по карте. Село Норинская находится на самом юге необъятной Архангельской области, совсем уже недалеко от Вологды. Помечено оно 60 градусом северной широты, на этом же градусе находится и Ленинград-Петербург. Так что ни на какой Север Бродского не высылали, его отправили чуть-чуть на восток от Питера, с 30 градуса восточной долготы на 40-й градус. "Страшная" ссылка его заключалась в том, что он числился разнорабочим в совхозе "Даниловский" с марта 1964-го по сентябрь 1965, что, я полагаю, было огромным для него благодеянием.

Толщ филологии таинственным (таким ли уж таинственным?) образом срослась с сущностью больших городов. В. Беньямин пишет

о фланёрстве у Бодлера как о стиле жизни, захватывающем всего человека целиком. Фланёрство как чара и плен. Приводит имена крупных европейских писателей и поэтов, которые как и Бодлер, не представляли своей жизни вне магии мегаполиса, вне лавирования (в непрерывности мизансценирования картин созерцания) в бесконечности улочек, лавочек, подглядываний, знакомств, гостиных, новых книг, "презентаций", разговоров, болтовни. Вне мегаполиса, враждебного молчанию природы (особому ее языку), современный человек не жилец. Разве я не помню, как Аркаша С. едва не наложил на себя руки, когда его выслали из Москвы на два года, отправив к родителям в уральский миллионник. Он выдержал лишь два месяца. А ведь он был всего лишь мелкой интеллектуальной шпаной, дворником. Люди же, хотя бы мало-мальски причастные к "логосу", не могут и дня прожить за пределами столиц. И это притом, что у всех ноутбуки с электроникой. Магия новых форм искусства толпиться. Что так пугало Аркашу в родном громадном посёлке? Ощущение своей абсолютной внутренней нищеты, окончательной, неподъемной. В Москве он моментально накачивался иллюзорной значимостью: он держал маленький "салон" модных разговоров, через него шла полузапрещенная литература, к его услугам был нескончаемый поток "просвещенных девушек", готовых лечь с ним в постель по первому намеку.

Есть ли в человеке, не способном жить вне мегаполиса, дух? Бодлер писал о "религиозном экстазе больших городов". Не машинный ли это экстаз? Сохраняет ли такой человек в себе сердцевину растения? Хотя бы в потенции?

Тот же Беньямин не мог существовать вне интеллектуального комментирования новых и новых артефактов, человеческих "событий" и идеологем. Вне толпы он не мог мыслить. Гораздо тоньше был организован психический и интеллектуальный аппарат Эрнста Юнгера, писавшего в "Гиппопотаме": "Впереди меня ждал целый день в незнакомом городе. Это всегда вызывает во мне радость, ибо нигде дух мой не чувствует себя более свободно, чем в сутолоке гавани, набитой чужим трудолюбивым народцем. Такое просветленное настроение еще более укрепляется в тех случаях, когда язык обитателей мне непонятен; например, когда я был с Уэлси в Индии, просветление не покидало меня неделями. Возможно, причина этого в том, что глаза становятся нашим главным органом, и мы начинаем

яснее видеть, как разыгрывается спектакль жизни. Тогда человеческая суэта предстает перед нами словно на сцене - простой и вместе с тем наделенной глубоким смыслом..." Таков, мне кажется, вообще уровень постижения феномена просветленности у европейцев: созерцательный гедонизм, нанизанным на интеллектуальную аналитику, пропитан у них каждый клеточный атом. Миллионы и сотни миллионов фланёров смакуют "нектар жизни". Русские еще только вступают на эту тропу, тонущую в дурной бесконечности лабиринта.

Странным образом все эти тактильные удовольствия непредставимы вне опыта их словесной фиксации, где они становятся сценой и театром. Что здесь является источником, а что следствием, - неясно. Возможно, это порождающий сам себя дуэт. Во всяком случае, у Юнгера уникальный талант изыскивать изысканные приключения буквально из ничего или на "пустом месте", правда именно в густоте больших, переполненных антиквариатом городов. Игра воображения упрятана при этом в безупречную форму достовернейшего реализма. Так что даже война предстает у него нестрашным, полным утонченных удовольствий и причудливых мизансцен приключением.

Человек прячется в мегаполисы от истинной природы своей нищеты духа, обретая "за просто так" таинственный лик посреди других таинственных ликов, ибо посреди сплошной виртуальности тщеславно-соблазнительного хора всё становится мерцательным и безответственным как сон.

Наблюдая утреннее блаженство моего рыжего красавца-кота, лежащего во сне-полусне на прекрасном клетчатом покрывале широкой тахты в тихой комнате под двумя живописными шедеврами, я чувствую, как вечность сопутствует его абсолютно раскованной позе на правом боку. Да, тихое веянье, безусловное. Однако ощутить это же самое применительно к себе у меня уже не хватает духу. Недостает какого-то импульса. Какого?

Встаю в ментальную позу Мальте Лауридс Бригге и вопрошаю: "Может ли что-то быть эффектно красивым, увлекательно-захватывающим и одновременно неистинным, ложным? Сколько угодно. Может ли что-то быть скучно-тягомотным, тяжелым, трудным, малопонятным и в то

же время истинным? Несомненно. Может ли быть так, что почти все наши литературные, художественные, музыкальные и научные авторитеты в последнее столетие служили злу, не ведая об этом? Очень вероятно. Может ли быть такое, что человечество давно оскотинилось, приняв интеллект и его тарактеные за знак духовности? Похоже на правду. Может ли быть такое, что ангелов бы стошнило от одного случайного прикосновения к сознанию большинства наших "креативных" талантов? Почти несомненно. Может ли быть такое, что наше искусство и наука заняты производством почти исключительно лживых фантазий? Скорее всего именно так. Может ли быть такое, что природа сапиенса извратилась до самого доньшка? Похоже на то. Может ли быть, что мы сидим в поезде, который уже давно летит в бездну и никакого выхода нет? Вполне вероятно. Могут ли спасти положение пресловутые (или достославные) десять праведников? Могут, если одним из этих праведников окажешься ты сам.

В Упанишадах, в Махабхарате и в других древнейших индийских книгах слово долг и слово закон (дхарма) встречаешь почти на каждой странице; да и не по разу. Но ты никогда не встретишь там слова "свобода", только: освобождение. Оттого-то столь объемист на полке том "Мокшадхармы" (Основа, закон освобождения). Иногда, в минуты смуты, хаоса, одиночества и колебательной неуверенности, я напоминаю себе, что мой долг прост - следовать глубинному внутреннему императиву. Иногда рождается следующий вопрос: тайная радость исполняемого долга по отношению к кому? Здесь ты останавливаешься. Многие люди, способные опереться на свой сверх-ум, задают себе этот вопрос всю жизнь. Ибо ни на один действительно серьезный вопрос не существует ответа.

Без поворота к простоте мы не сможем выйти из хаоса логических построений, из бесконечности лабиринта. Надо пожертвовать "сладчайшим" наркотиком тщеславия (причастности к элите), равно престижными местами на "празднике жизни". В том-то и суть Игры, что без жертвоприношения интеллектом ты никогда не выберешься, чтобы встать на путь освобождения. Просвет находится по ту сторону интеллектуальной изошренности. Путь к простоте, к предельной вербальной сдержанности есть путь к той аскезе, без которой нет близости к дхарме. А разговоры о "разных путях" в поэзии есть разговоры о

разных видах морали. Да, видов и форм морали множество, но этически мистическое корневище, дхармический закон - один-единствен.

Мы еще совсем не понимаем, что именно стоит за, с одной стороны, даром красноречия, этой мощно плотной решеткой языка, оплетающей чуть ли не все поползновения и намеревания человека, и с другой стороны - даром косноязычия: прямой и изумленно-субъективной низверженности человека в необъяснимый океан Реальности, кажущийся хаосом из-за непомерной сложности вибраций. Кто из них в лучшем положении с точки зрения социальной успешности, - понятно. Но с точки зрения касания сокровенных струн? Далеко не всё ясно, скорее - совершенно не ясно. Для меня очевидно, что бойкие говоруны и бойкие перья (какими бы крупными персонами они ни объявлялись) - не те персонажи, которые могли бы стать проводниками в измерение духа. Порой создается впечатление, что самые насыщенные словами (порой целыми библиотеками) книги, с вселенским словарем и амбициозностью речевых танцев, как раз дают образ идеально омраченного сознания, ничуть, впрочем, об этом не догадывающегося, ни субъективно, ни, так сказать, объективно. Примеры каждый найдет сам, изнутри своей персональной штольни.

Внешнему свету ты должен подставлять свои личины, свои "облики", обличья, свои драпировки. Внутреннему свету ты всё это не подставишь. Он не продается. Вот почему культура только то и делает, что ищет того, кто ее просветит. И трепет этой надежды ее и питает. Трепет надежды, которая не исполнима.

Один юный поэт, ставший затем истинным, написал в дневнике: "А я знаю лишь одно-единственное, что способно подтвердить, если отвлечься от всего внешнего, что ты желаешь истинного и живешь своей подлинной жизнью. Это если вдруг при встрече с красотой, вопреки ей и сквозь все временные промежутки и сквозь все неурядицы, чувствуешь себя кратким последователем собственного детства и замечаешь, что твоя сегодняшняя жизнь могла бы в своем течении совпасть с границей, где детство смыкается с сумятицей и случаем, с вторжением великого..."

День двенадцатый

Мы ничего не успеваем почувствовать, мы слишком быстро перемещаемся. Помню, прошлым летом я провел целый день в Ясной Поляне. (После многих лет всё казалось новым). Но я не успевал за собственными перемещениями. Я перемещался в поисках чего? Я менял ракурсы. Но ни в одном я не оставался полностью, весь, с головы до пят. Смыслом моей поездки были эти перемещения. Я, собственно, помню только их. Архаичный завод (с металлургическими трубами) по пути. Словно сладкий удар в область детства. Присутствие Толстого было ли уловимо? Как мала сама по себе бесконечная вселенная. Подъёмы, спуски. Овраг...

То и дело слышишь от наших делателей "культуры": как можно уважать *такую* страну? Ну и далее в том же тоне. Но облик и внутренняя стать страны как раз и строятся из того уважения, которое мы ей оказываем. Уважая мать, ты создаешь то, что достойно уважения. Только последний дурак может учить молодых людей не считать *такую* страну своей родиной. Разве такого трансгуманиста можно называть отцом или другом, мужем или поэтом? Если ты крыса, то какой страны ты достоин? Страна не бывает плохой или хорошей сама по себе. Она состоит из наших к ней чувств, из нашей верности или предательства, из нашей любви или нашего бесчувствия. Эта ужасная формула Чаадаева, за которой пошли столь многие: "Я не могу любить слепой любовью". Но любовь не бывает с калькуляциями и экспертными комиссиями. Любовь - это сострадание, а не любование с бокалом шампанского в руке. И если не Россия, то кто достоин почти бесконечного сострадания? И разве она не твой ближний?

Но ведь презрение сегодня готово излиться на любую страну, живущую как самоценный этнос, как намоленная земля. Как почва, политая потом и кровью предков. Сегодняшний негодяй от культуры живет между чужими родинami.

У современного словесника (доминирующий сегодня слой населения) нет предмета описания. Более того: нет субстанции внимания. Взор

хаотически перемещается, скачет и блуждает. Самого ощущения содержательности мира нет в его текстах (устных и письменных). Вот от этого и кайф неограниченной свободы: полной и бесконтрольной. Из мира изъято содержание. (Оно, будучи причиной онтологической целостности и тайны, ускользает из любых функциональных объятий). Соответственно, изъята божественность, присутствующая в каждой вещи, вне которой всё - чистая кажимость, персонаж или молекула из зыбкого сна. Емкая тяжесть мира (этический взор звезд) выброшена на свалку. От этого полный подростковый восторг, от этого же легкость необыкновенная в ассоциированиях и диссоциациях, аллюзиях и прыжках. О пляска святого вита, ты, оказывается, полный демиург в совершенно пустом мире, где существуют только слова, слоги и звуки; ах да, еще паузы. Боже мой, как хорошо!!! Мировым словарем можно пользоваться совершенно безбоязненно. Мир не восходит ни к корню, ни к произрастанию. Мировое древо - всего лишь метафора. Слово всего лишь ярлык и этикетка, материал для создания звуковой пьесы; интенция некоего пафоса. Современный поэт (как архетип) имеет абсолютное право быть идеально развязным, он хватается всё и вся, ибо ни к чему и ни к кому не испытывает трепета, иррационального и необъяснимого. Он в тотальном отчаянии, но узнает об этом чуточку позже своей смерти. Если, конечно, она окажется своей.

Эпоха с лихвой исполнила завет Брюсова: "Быть может, всё в жизни есть средство/ Для ярко-певучих стихов". Всё (жизнь, бытие) стало средством к ... И ведь мы помним, кем был Брюсов. Обладателем врожденной идиосинкразии на этическое. А служение "ярко-певучим стихам" неотвратимо привело его к "служению Советам, до которого он опустился в печальном и позорном конце своей жизни, вместе со шприцем морфиомана" (Вл. Ильин). Неотвратимо, потому что революционеры (улучшатели) были по природе своей болтунами, литераторами, поэтами новой формации. Но это не значит, что не опасными.

Многословны ли были величайшие мудрецы? Будда Гаутама, Христос, Лао-цзы, Доген, Серафим Саровский? Были ли они красноречивыми? Будда оставил ученикам (притом, кажется, лишь одному из них) всего одну-единственную краткую весть и то просил передавать ее только "от сердца к сердцу", то есть избирательно-неизреченно, ибо пере-

даваемая вербально-формально она перестанет быть сущностной. Мне возразят, напомнив об "Алмазной сутре", где сравнительно большая беседа Гаутамы. Но там ведь он отвечал на вопросы просветленного мужа Субхути, задавая ему в свою очередь свои вопросы. Это беседа двух просветленных, один из которых просветленный полный, а другой частичный. И ключа у непросветленного читателя к этому тексту просто нет, да и быть не может.

Ибо человек тоже по своей корневой сути потаён, как и простор, в котором его молитва, мантра, позвоночная мелодия может встретиться с Дыханием; человек - внутри простора потаённости. Такова музыка, которая есть не-музыка.

Критически большое число художественных изделий (и притом якобы лучших) во всех жанрах воняют этическими миазмами, но всего этого уже давно не замечают носы, натренированные только на эстетику. Похоже на этическую кастрацию.

Вспоминаю, как мой отец, отвечая мне, зеленому юнцу, в далекие уже времена на мой вопрос, откуда взялось столько лживых людей, куда делась русская любовь к правде, сказал примерно следующее: но ведь, сынок, это уже не те русские, это новые русские. Они начали болтать, ораторствовать и через это получили власть. На тех, настоящих русских, краснобайство не действовало и не могло действовать, вот почему их уничтожили. А новые русские - заложники болтовни, они обалтываемы и сами наслаждаются властью собственной болтовни. Но в основе краснобайства, сынок, всегда ложь. Правда молчалива, и она никогда не разукрашивает себя.

Новые волны речевой раскованности миллионов (если не миллиардов) устрашают. Но ведь не с неба же упало сие красноречие. На Руси его исток - социал-демократизм второй половины девятнадцатого века. О том, что этот пафос, в новой своей фазе начала двадцатого века, погубит Россию и даже мир, писал Василий Розанов. Агрессивное краснобайство комиссаров в кожаных общеизвестно. И советская поэзия возрастала как активно ораторствующая. В ней всегда вели потаённую борьбу чисто русская линия целомудренного исповедания и линия собственно "большевистская", с криком и призывами этносов,

крайне чуждых русскому психотипу. Не случайно Евтушенко справедливо ощущал свое сродство с Иосифом Бродским. Большевизм ведь в широком смысле есть один из вариантов разрыва с целомудрием мышления. То, что я называю эстетическим фашизмом, как-то с этим связано. "Большевизм" - всего лишь слово, этикетка истории, но энергии, стоящие за ним, изливаются ныне под другими этикетками и символами.

В древности говорить могли лишь знатные, то есть в той или иной мере связанные с наследием богов. Остальная жизнь проходила в молчании (где звучала иная форма речи) и в работе, которая была молитвой. Огромная часть внутренней жизни и работы проходила в измерении трансцендентальной речи, ценность которой была абсолютна хотя бы потому, что она стояла в стороне от тщеславных соблазнов.

Все древние традиции единодушно утверждают, что для того, чтобы увидеть реальность как она есть, необходимо прекратить речевое или мысленное бормотание, "внутренний диалог". То есть дать свершиться потаённой речи в тишине и покое.

Ольга Седакова в письме Владимиру Библихину: "Аверинцев говорил, что все мы *deracine*, вырваны с корнем (вследствие революции) и поэтому разговоры о "корнях" нелепы, и что единственно где теперь можно *enraciner* (укорениться) - это в небесах. Но кажется, так оно было и до комиссаров. При Борисе и Глебе..."

Однако наши "небеса" присутствуют именно на нашей "убогой" земле. В этом судьба русского человека: понимать нутром (не-умом) иллюзорность сугубо материальной укоренённости. В этом одна из потаённых сутей нашей "национальной идеи": хотеть укорененности и не мочь ее свершить по причинам, суть которых, возможно, восходит к неким очень древним обстоятельствам царства земного. Укоренен ли был Иисус? А Лао-цзы с Чжуаном? А куда еще глубже можно быть укорененным? Но разве они завистливо воспевали дух чужих земель? Если хотя бы гран зависти и предательства заведется в душе человека, он падает со всех своих небес (реальных и потенциальных) немедленно в свою преисподнюю. И не факт, что он это сразу заметит. Так устроена Дхарма.

"Мудрый человек не имеет ничего своего. Божественный человек не имеет заслуг. Духовный человек не имеет имени", - Чжуан-цзы.

Может быть Розанов не прав, и Гоголь не посмотрел на Русь "чертовым глазом", а просто-напросто Гоголь был поэт, чистая наивная душа, ужаснувшаяся харям, которые она увидела вокруг с близкого расстояния. Возможно, мир уже тогда был полон харь, и человеческое лицо уже тогда было встретить трудно. Разве Кафка описывал не мир харь? Только более внешне благообразных, под стать европейским зеркалам и лекалам.

Прожить жизнь, чтобы вдруг остро почувствовать, что лица ты видел только в юности, в социалистической юности, а последние тридцать лет ты видишь вокруг только хари? Справедливо ли это? Благородно ли это? Продуктивно ли это?

Случается такое впечатление, что безсчетие красот мира (в том числе стихов, музыки, картин) вполне осознанно (из какого-то ментального центра зла) отвлекают возможных искателей от верной тропы. Самое сложное - остановиться в этом мощнейшем потоке, несущем тебя в исчерпанность и в циничную усталость. Остановиться и выйти. Из поезда, идущего из ниоткуда в никуда. И найти свою собственную пещеру без стен, собственную "мантру" (может быть и без кавычек), которая и станет твоим сим-сим. В этот момент ты всегда будешь юным и одновременно старым.

Жажда свободы проистекает из ощущения запертости. Социальный инстинкт бегства. Божеская в тебе монада жаждет совсем иного: восстановления (поврежденной) души. Бегство из поврежденности?

"Люди ищут тайну, а не истину", - говорил с печалью в 1936 году Шри Рамана, живший у подножия горы Аруначала. Прошло более восьмидесяти лет, и теперь можно сказать, что даже и тайны никто не ищет и не жаждет. Почти всем достаточно готовых удовольствий.

Новая популяция словесников, переживая в юности религиозный бум интеллектуального свойства и окраски, к старости всё тянется к удовольствиям позднего Рима. Пирамида, стоящая на острие вершины. Поэтизация жизненных appetitov. Прочь от Шопенгауэра и Симоны Вейль.

В каждой из жизненных стадий (европейских) есть своя триада, ибо даже в наше время полного господства эстетического взгляда на мир и на искусство возможны разговоры об этике и о господе Боге. (Конечно, вялые и не схватывающие существа вопроса). У человека душевно-природной стадии присутствует свой эстетический кодекс, своя борьба за сердце как ментальный орган и свое продвижение к отрешенности. Соответственно и христианство всегда существовало в тройном варианте: у одних оно было кладезем сюжетов для картин, музыки, стихов etc., у других оно было "этикой Христа", а у третьих - исихастской практикой, обретением Бога-в-себе (Лев Толстой как одна из вершин русского духа).

Индийский святой: "Состояние свободы от мыслей - единственно реальное состояние". Подтверждаю, что это так. Вот почему я так любил в детстве одного из друзей моего отца - старика-коновозчика Галимшу. (Когда-то он мыл золото на Дальнем Востоке, бродяжил, промышлял охотой). Его статус в моих глазах был чрезвычайно высок уже от одного того, что он был в дружбе с конем. И что по сравнению с ним были все эти начальники цехов, конторские управленцы и даже инженеры? Галимша сказал при мне две-три фразы, не больше. Вот почему он был для меня человеком волшебным. Впрочем, было и еще одно обстоятельство: он наполнял наш дом каким-то необыкновенным настроением. Словно бы тишина становилась веществом.

День тринадцатый

Просматривал старые письма на ноутбуке. Странное письмо кажется из года 2007-го, от незнакомца: "Коленька, сердечная благодарность тебе за блестящую книгу о Розанове. Купил её, повинувшись всегдашней интуиции, на развале в Москве за полтинник и обомлел от неожиданности короткого замыкания встречи, русской глубины, точности, ясности, сочности и вкусности речи, да ещё так - о любимце Розанове, с которым я дружен ещё с пирожковских изданий. <...> Но, к несчастью, в книге есть пронзительные и болезненные, как удар ножа, непостижения, резко диссонирующие с музыкой подлинного знания. Я уверен, Коленька, что это временно и вся правда тебе скоро и радостно раскроет свои объятя и ты всё увидишь своими очами. Желаю тебе

всяческих успехов, и теперь я спокоен - я не одиноко шелестящее кроной дерево, укорененное в небе. А.С." Имени-фамилии этой я прежде не встречал.

В ответе я прежде всего, конечно, заинтересовался моими "непостижениями". Через пару месяцев получил письмо: "... "Дерево, укорененное в небе" - не образ Рильке, но актуальное переживание Реальности. Это то, что я <как раз> и отнёс к твоим "болезненным непостижениям", мне больно читать <у тебя> о непостижимости Бога, которого я вижу каждый день от утра и до ночи и от ночи до утра. Я очень хорошо понимаю Моисея, прикрывавшего своё лицо пеленой, чтобы не видеть ранящего душу нестерпимой болью несовершенства мира - искаленного первообраза Того Кто Есть.

Коленка, буду трезвым и в силах, обязательно отпишу свои замечания по книге, но не гарантирую. Диабет, гипертония, мутации, дурдом, уголовное дело, многоконфессиональность, заказы, ракеты, смерть сделали свою стратегическую работу и теперь, с угасанием телесного зрения, ярче разгорается полдень Духа, но возможностей всё меньше. Желаю тебе всеведения, простоты, целомудрия и радости. А."

Мы еще обменялись письмами, а потом пришло последнее: "Коля, привет, дорогой! За означенный тобою период, я достиг полного понимания Высшего и умер от совершенства понимания, ибо достижение Высшего - смерть желаний. Это был страшный год живого мертвеца с рентгеновскими глазами. Но женщины и дети неожиданно оживляли и пробуждали душу, и я понял что сущность жизни в заблуждении. И тогда я стал просить Единого избавить меня от высшего знания и даровать заблуждение и стал полным профаном с пронзительным зрением. Здоровье тоже пошло на поправку, хотя я не должен был пережить 2015 год и реально погибал не вставая с постели больше трёх лет. Что будет дальше не гадаю и смотрю на смерть как на новые возможности, хотя и беспокоюсь. Желаю тебе хорошего, сотаинник мой, и достижения Цели с новыми возможностями обновлённого ума. Прости за задержку в ответе, всему своё время, нынче настало. И ещё сто раз спасибо за лучшую книгу о Розанове!"

И вот я снова задумался о ней, о парадоксальной и трудной, но истинно русской судьбе, пытаюсь представить реальные её объёмы, представить моменты невероятных прорывов этого человека.

Когда искусство выбивает из зрителя/слушателя эмоцию восхищения, то делает оно это почти всегда посредством виртуозности того или иного рода. Виртуозность - следствие либо природного таланта, либо тренировки, либо того и другого вместе. Но ни то, ни другое никак не могут быть связаны с духовным опытом, а тем более вести к нему. Но если вас приобщают или причащают к духовному опыту (если вы сподобитесь такому), вы не восхищены.

Человек интеллектуальный никогда не поймет человека экзистенциального.

Сущностных книг в мировой библиотеке на удивление мало. В основном же в ней развлекаловка, эстетические пируэты и интеллектуальные экзерсисы.

В эпоху моего детства даже полуграмотные слесари, печники и уборщицы обладали абсолютным тактом, безошибочно чувствуя градации дозволенного и приемлемого, стыдного и переходящего границу чужой свободы. Сегодня даже люди с двумя-тремя университетскими дипломами изумляюще слоподобны в общении; эгосамость застит им глазюки.

Иоганн Себастьян Бах не был занят "созданием произведений искусства". Думаю, песни Шуберта из того же истока.

Выход к "другому Началу" философии-и-поэзии (призыв Хайдеггера) Ал. Дугин видит в переходе (возврате) к Хаосу, предшествовавшему западному Логосу. Что ж, не исключено, что там-то и таится родник трансцендентальной речи: Молчания особого типа. Ведь Хаос - это не склад мертвых вещей, а величайшая потенция, избыток родников и истоков, "семантический вакуум", бесконечность смыслов, их нераспакованность, их ризомность. Вот почему речь в этом ареале с точки зрения западноевропейского Логоса может быть классифицирована как великое косноязычие. Хаос есть сфера свободы от вседиктата Логоса, превратившего мир в конце концов в цифровую тюрьму. Хаос - это Океан, а логос, логика, рации - всего лишь пузырьки на его поверхности. Логос в свое время оболгал хаос и понятно почему. Теперь пусть Хаос расскажет о себе сам. Дугин полагает, что Хаос не

только зряч, но что у него тысяча очей. Возврат к "новому Началу" мог бы начаться с процедуры стирания мягким ластиком Хаоса всей накипи многотысячелетнего правления западноевропейского Логоса.

Разве не мистическую этику-розу Христос дал в качестве ключа к "царствию небесному"?

Самоубийства поэтов порой связаны с истерикой, в которую они впадают, преувеличивая свою значимость для мироздания. Когда некто, одаренный всего лишь техническим словесным талантом, воображает себя причастником Божиим, то однажды он будет иметь возможность убедиться в своем ничтожестве и в своей полной профанности. Петля или пуля тут как тут. Не исключаю из этой потенциальности и Сашу Верникова, хотя скорее всего дело здесь в другом.

Корневище поэзии в том смысле, как я ее понимаю, несомненно сакрально. Но это не значит, что этот статус автоматически переходит на тех, кто получает прописку в цеховом поэтическом княжестве.

Но разве нет среди поэтов самоубийств всерьез (хотя, в известном смысле, Симона права, и все самоубийства воображаемы, то есть эти волеизъявления иллюзорны, ибо в глубинном смысле противозаконны, а значит нереальны в глубоко индийском смысле слова)? Конечно, есть. Иногда поэт близко подходит к бездне нагуалья. В качестве "абсолютной истины" она его дразнит, провоцируя отворачивание к жизни в тоне. (Вариант отказа от воли-к-жизни как формы аскёзы). В конце концов в ходе этого балансирования "между мирами" у кого-то не выдерживают нервы. Поэт уходит в "истину".

Чтобы в полную меру наслаждаться эстетикой, современному художнику необходимо освободиться от остатков "этических шор". Но так ли это?

Западноевропейская культура с ее "мягкостью обхождения" создала некий универсалистский тип "фланёра", главное занятие которого - рассматривать жизнь как приключение особого рода. Недаром свою едва ли не главную книгу Эрнст Юнгер назвал "Сердце искателя приключений" (1930 год). В ней мы как раз находим всё: и изощренные эстетические наблюдения, и попытки этических анализов, и раздумья

о сущности и пределах человеческого познания непознаваемого. Нюансам искусства созидать ситуативно-жизненные и одновременно художественные ситуации "здесь-и-сейчас" в книге несть числа. Но рядом с этим и апофеоз "искусства беззастенчивости". Он называет так "недвусмысленное поведение", абсолютную в себе уверенность индивида, говорящую "о его богоподобном превосходстве". "В этом смысле я понимаю под *desinvolture* невинность власти". Такого рода высшая беззастенчивость "проявилась (на его взгляд) в жесте Людовика XIV, распустившего парламент". Другими словами, в Европе абсолютная наглость была эстетическим жестом, чем-то очень красивым и потому "богоподобным". Но у нас, как мы знаем, такие фокусы не проходят, ибо они замешаны не на эстетике.

Всё это не мешает Юнгеру, мастеру схватывать почти неуловимые вибрации и оттенки, петь оду феномену потаённого: "Невыразимое теряет свою ценность, когда его выражают и сообщают другому: оно подобно золоту, в которое перед чеканкой добавляют медь". "Нигромонтан передал мне знание о том, что среди нас есть избранные люди, давно покинувшие библиотеки и пыльные арены и занятые работой в прикровенных местах, в своем внутреннем Тибете". И в финале этого размышления: "Вера в одиноких людей рождается из тоски по безымянному братству, по глубокому духовному родству..." Духовность у Юнгера понимается как одна из высших эстетических вибраций сердца искателя приключений.

Какой колоссальный разрыв между *этим* и русским пониманием-переживанием этико-эстетико-духовных субстанций и жизненных положений-стадий. Доминанта достаточно примитивного оккультного приключенчества окрашивает даже самые серьезные страницы книги. Вот о незримых дверях, раскрывающихся "перед духовной властью": "Они подобны стыкам в грубой конструкции мира, проскользнуть сквозь которые может лишь тот, кто обладает тонким мастерством и отмечен тайными знаками".

В любую эпоху условной элите казалось, что наконец-то мы "всё поняли". И каждый раз это оказывалось иллюзией. Наша современность особенно в этом смысле экзальтирована. "Прорывы" в науке кажутся колоссальными и дают в мозг большие порции алкоголя. Литература налилась кровью игры воображения, "освоив" восточные истины об иллюзорности предметов и субъекта. Многие поэты

убеждены в полном понимании Всего. Что дает эта экзальтация? Порывы к Утопиям. Но чем они кончаются? Начинаются в поэзии, музыке, философии, а заканчиваются мировыми войнами.

Человечество - монстр, черный маг, сама идея человечества как сверхсмысла глубоко порочна. И не только тем, что затягивает в пучину коллективного эго-тщеславия. Но и корневой лживостью, ибо никто не живет ради общего блага, но прикрывает им свое предательство.

Цель Дао - не человечество, а человек, а точнее - возрождение в человеке его дао-сознания, дао-достоинства. Человечество в кризисе. Но почему истинному человеку не оставаться человеком? Разве вселенная трудится не над каждой конкретной душой? В конце концов не человечество сущностно, но Единица. Древние мыслили не категориями масс, а категорией подлинного или неподлинного человека. Подлинный пребывал от "общественных нужд" на большом удалении.

Прятаться за человечество? Но ведь мы рождаемся перед Атманом, живем в Атмане (или в его пародии: в эго) и уходим к Нему. Так не лучше ли оставить человечество на периферии внимания?

Банальный закон: если вкушать сверх меры даже самую здоровую пищу, она становится ядом. То же - в сфере ментальной. Современный мир тяжело болен от переедания. Надо уметь остановиться, храня пустым центр. Интеллектуализм разрушает всё и вся. Мера давным-давно нарушена.

Ментальный закон: случилось истинное переживание, остановись, углубись. Оставайся верен этому звуку, этой мантре, единственной молитве, единственной мелодии. Иначе познанное начнет тебя разрушать. Вот почему вокруг нас человеческие руины: фрагменты и осколки.

В основе нынешнего стадного желанья новизны и новизн - инстинкт разврата, это ясно как простая гамма. Обычное возражение: а что, повторы лучше? Но почему мы должны раздражаться повторностью природных процессов? Разве именно эта повторность не обращает наше внимание на неповторимость нюансировок, деталей, "теней и полутеней"? Разве существует угнетающая повторность в общении с любимым существом? Угнетающая повторность - опасный симптом.

Механический (абстрактный) человек сойдет с ума, если его не кормить каждый день чем-нибудь новеньким. Это и есть синдром бешенства нового человека, "трансгуманиста".

Любовь живет повторностью, разврат жаждет непрерывных "новшеств". Любовь вновь и вновь возвращается к одному и тому же: к городу, деревушке, пейзажу, роднику, поэту, книге, мелодии и т.д., и т.п. Разврат (омраченность) гонит и гонит человека энергией любопытства, ибо сердце его мертво, а желудок любопытства огромен. Разврат по природе своей реформатор, изобретатель, конкистадор. Любящий (просветленный) тонет в предмете любви, познавая таинство неисчерпаемости капли. Он видит, слышит и осязает в боге; вот почему простая букашка являет ему более ценные "истины", чем ангелы сообщат интеллектуалу. Вот почему "настоящий путешественник" не выходит со своего двора. Его сердце настолько захвачено неизречаемой (а чаще всего и неосознаваемой) любовью к тем вещам, которые ему явились, что выбраться из этого царства ему просто недосуг. Любовь просто-напросто не даст ему выбраться "дальше своего двора". Вот почему столь внутренне пусты и столь омерзительны толпы туристов и путешественников.

И еще один нюанс на тему, почему "настоящий путешественник не выходит со своего двора". Потому что в качестве ненастоящих мы интересуемся всем чем угодно, только не своим внутренним космосом и только не своими проблемами. Мы трусливо бежим "со своего двора", заискивая перед чужими пирами и мерзостями. Мы хотим жить чужими радостями и изучать чужие проблемы.

День четырнадцатый

Человек "эстетической стадии" вовсе не обязательно злой или недобрый человек. Отнюдь. Он может даже вполне увлеченно заниматься благотворительностью. Но она обладает для него эстетическим обаянием. (Он любит издали на свой образ). Иного модуса он (его психика и трюха) не знает.

Эстетическая и этическая стадии - это не характеристики эмпирических достоинств гражданина перед законом и "моральными устоями", это очень огрубленное название глубинных уровней

ориентации сознания или, точнее, подсознания, всей системы настроенных, работающих интуиций.

Как может выжить общество, поощряющее сплошь душевно-безобразное?

Симона Вейль: "Как есть божественное искусство, так есть и искусство демоническое. Его-то, без сомнения, и любил Нерон. Значительная часть нашего искусства демонична. Страстный поклонник музыки вполне может оказаться извращенцем, но, на мой взгляд, вряд ли такой отыщется среди любителей григорианского пения... Сейчас у искусства нет будущего, и в ближайшее время оно так и не появится. Это связано с тем, что всякое искусство общинно, а общей жизни больше нет (есть лишь мертвые общности), а также с тем, что порвалась подлинная связь души и тела".

А вот дополняющее наблюдение: ""Не забывать о том, что, согласно Сан Хуану де ла Крузу, те озарения, которые отвлекают от выполнения простых и примитивных обязательств, исходят не от Бога. Долг нам дан для того, чтобы убить "я"".

То есть ложную монаду, пытающуюся нас убедить, что ничего кроме тела, его эмоций и интеллекта человек собой не представляет.

Если центр универсума (источник сакральной энергетике) этичен в своем простом и ясном излучении, то почему мы и на искусство не можем смотреть сквозь эту призму? Зачем поощряем жесточайшую цензуру против чистоты и целомудрия, называя всё вечное тривиальным?

Разговоры вокруг культуры ведутся так, будто красота творится отдельно, а распад мира идет параллельно, не соприкасаясь. Словно бы искусство в своем эстетическом росте непрерывно совершенствовалось, а общество таинственным образом деградировало совершенно независимо от прогрессов в искусстве, науке, технике и формах общения. Но реальный распад человека и соответственно мира идет не вследствие ли террора той "красоты", которая к дхарме не имеет ни малейшего отношения?

У Олдоса Хаксли в книге "Обезьяна и сущность" читаю такой диалог: " - Как ты думаешь, Ганди интересовался искусством? - спрашиваю я.

- Ганди? Разумеется, нет. - Пожалуй, ты прав, - согласился я. - Ни искусством, ни наукой. Потому-то мы его и уколошили..." Ганди не любил искусство и науку. Он любил брахмана в простых людях. За это люди "просвещенные и талантливые" и приговорили его к смерти. Так считал Хаксли. Вполне вероятно. Старая история, повторяющаяся вновь и вновь в истории нашей страны, где "талантливые и образованные" непрерывно приговаривали к высшей мере простых людей, способных прожить счастливо и без науки и без проплаченного искусства. Старая ярость импотентов, хватающихся за костыли искусства и за соблазн науки.

Умственные арабески, какими бы они ни были изысканными и красивыми, никогда не станут поэзией. Поэзия показывает нам ситуацию истины: человека, осознающего свою временную пребываемость и наблюдающего за собой в интерьере этого рождального последнего вечера. Он всегда последний, если увиден поэтом.

Содержание мира покинуло нас, и мы остались с формами. Формы истаивают, и сон кончается. Содержанием слов было молчание. Мы его убили.

Если ты заметишь за собой, что ждешь восхищения своим изделием, ждешь изумленности на свой опус, на то или иное сделанное тобой (даже на поступок), считай, что ты проиграл маленькое сражение. Ты проиграл дважды, если и в самом деле дождался восхищения и аплодисментов. Это значит, что твое стихотворение или пьеса или исполнение сонаты - не поэзия, а всего лишь ловко задуманный и эффектно исполненный трюк, цирковой номер, организованная и могущая заранее быть предсказанной сугубо эстетическая, то есть технологическая эмоция. Восхищение - это конец. Если ты прочел стихотворение, исполненное поэзии, ни один комар не чихнет, когда ты закончишь. Поэзии не аплодируют, она обладает совсем иным действием. Поэзия, если она есть, если она родилась, прозвучала, как раз выводит нас из эстетического морока восхищений, и аплодисментов, и криков "браво!" Она не является действием, заточенным на функцию, могущую дать "творцу" блаженное самоудовлетворение. Она не товар и не "красота". Настоящий поэт не будет кривляться ни на подмостках, ни на подиумах. И даже не потому, что он

по интуитивному габитусу аристократ. А потому, что ему не нужна эмоция коллективного восхищения, она ему чужда, она ему отвратительна. Поэзия живет в отрешенности, в потаённости, она не оглашаема.

Нации, живущие телесным и материальным, побеждают одухотворенных: в новое время это закон. Победа здесь либо прямое уничтожение, либо уничтожение корней и идеалов. Но ведь и в старые времена картина была та же самая.

Слабая осознанность. Туман, нечеткость осознания того или иного. Огромные куски тумана осознанности. Грех против атмана в себе. Откуда же в нас эта слабость? Не от того ли, что мы бежим? Не от неполноты ли внимания к фрагменту?

Медитация - это подлинная природа сущего. Не статика, не картинка, не набор функций. Рождаясь, мы оказываемся в многомерном медитационном пространстве, которым являемся и мы сами. Вот почему медитирующий и медитация есть одно целое. Так крестьянин, сидящий вечером на завалинке, покуривая, медитирует, вовсе не зная об этом. Он ни о чем не думает. Он дал свободу своему глубинному потоку сознания. Так медитируют гора или холм, не будучи "освоенными" человеком. Вот почему в качестве "неосвоенного" холм (или гора) нас так волнует. В это время гора есть священная антенна.

Когда вся природа на Земле окажется освоенной, то и сам человек, а не только она, прекратят медитировать: всё станет насквозь концептуальным, словесным и технологичным.

Вот почему нас так трогает и волнует всё целомудренное.

День пятнадцатый

Не пойму, с какой стати вдруг вспомнилась юность, где мне посчастливилось поработать несколько лет на крупном советском заводе; даже не на заводе, на электрометаллургическом комбинате со множеством громадных цехов и всей социальной автономной инфраструктурой. Журналистская должность давала мне возможность

бывать сколь угодно долго в любой точке громадно таинственного, поистине (на моё ощущение) средневеково-алхимического производства. (Завод был неизменно громадно теургичным и загадочно-бездонным в моем его восприятии). Я мог беседовать с самыми разными людьми практически на любые темы, прикрываясь профессиональным любопытством. Видеть вблизи крупным планом самых разных людей, доступа к которым в обычной жизни я бы не имел, проживи хоть тысячу лет. Я мог побудить мастера или начальника смены свернуть с главной тропы, чтобы слушать его часовой рассказ о жизненной истории или о домашней драме. Или мог час или даже два беседовать с начальником цеха о наших с ним любимых книгах. Это оказалось возможным, конечно, не сразу; прежде надо было добиться уважения и доверия, то есть чтобы в тебе увидели такого же трудягу, как они сами, а не щелкопёра. Итак, мы плавил около ста видов ферросплавов и лигатур высочайшего качества, изготавливали несколько десятков видов электродов. Но я не о том, точнее - не совсем о том. Я о слове "посчастливилось". Посчастливилось, потому что я жил среди людей, организованных в благородную осмысленность и продуктивность. Здесь редко кто шел на завод ради денег. Даже если кто так и думал, все же на самом деле он шел за чем-то совсем другим. Да, за смыслом и безусловным благородством взаимоотношений, хотя ни одного атома мыслей об этом ни у кого не было. Рефлексия людей по поводу себя неизменно была "статусно" ниже, нежели сама поведенческая ткань этих людей. Конечно, я и до того встречал глаза в глаза тружеников чистейшего замеса: плотников, печников, токарей, звероловов, углежогов, шорников, портных и т.д. Но там мои наблюдения (если не считать моих соучастий в работах отца) были созерцаниями. Так я, бывало, часами, изо дня в день наблюдал за работой кузнеца в небольшой кузне неподалеку от отчего дома, вслушиваясь в мощное и нескончаемо космическое пение горна, звук которого позднее обнаружил в ораториях и мессах Баха, или за мистерией внутри конного двора в двухстах метрах от кузни, где таинство подковки лошадей зачаровывало меня неизменно, и я каждый раз смотрел, словно видел это впервые. На заводе же я наблюдал не только фрагменты конкретной магии, конкретного мастерства (мастерства рук, глазомера и тела в его пластике), работы со всеми четырьмя стихиями плюс с органикой земных недр, но круговую сплоченность, где, собственно говоря,

выковывался человеческий характер, хотя можно сказать и смелее - человеческий дух. Многие из рабочих, инженеров, мастеров и начальников цехов, с которыми я подружился, были внутренне истинными героями Александра Грина, и это не перебор моей фантазии. Тогда я, конечно, этого не видел и посмеялся бы от души над таким романтическим предположением, услышь его; это открылось мне сегодня, из адовой глубины нашего капиталистического опыта. Отдельные характеры и сейчас стоят в моей памяти как феномены, равные по качеству подвижникам, хотя жили и реализовывали они себя формально в совершенно атеистическом пространстве.

Да, я наблюдал аристократический габитус, ибо в людях жила вертикаль. Да, то была социалистическая аристократия, особенно пленявшая меня в образах некоторых начальников крупных цехов. Незабвенны, например, Р. и Л., родовитый русский и родовитый еврей. Но как они внутренне были едины в выправке! В безупречности внешнего облика, чистоте и точности костюма, жестов, сдержанной безупречности слов, в строгой гуманности и во внимательном всматривании в каждого подчиненного. Даже в атмосфере кабинетов, где прочитывалась культура хозяев и некая почти философическая их задумчивость. При капитализме аристократии нет, ибо нет вертикали, люди расползаются по плоскости, отличаясь лишь количеством денег и вещей. Плебеи с яхтами и самолетами. Впрочем, есть бедные и очень бедные плебеи и есть богатые и очень богатые. Остаточная вертикаль сохранилась лишь у тех бедных, которые не думают о своей бедности, да и не подозревают о ней.

Скажут: да ведь эта вертикаль в них была иллюзорной, поскольку идеалы были иллюзорны. Но иллюзорен наш суетный мир, иллюзорны все идеалы, концепции и проекты, но вот вертикаль благородства в душе - единственно, что не иллюзорно. Она проходит сакральной струной сквозь всю шелуху социальных "прогрессов" и ретардаций. Концепциям и идеалам подвержена хроника души, притом поверхностного ее слоя. Глубина души блаженно спокойна и тиха. Кстати, а какие идеалы существуют при капитализме? Убей, своруй, подтолкни?

Медитации я научился, конечно, у природы. Но совершенствовал ее в том числе в этих созерцаниях, когда мой ум отключался окончательно, и я как зачарованный смотрел за огнем в горне, слушая его

божественную песнь, исходящую из гортани неба, или когда созерцал отдыхающих лошадей, или часами сидел "просто так" в просторной сторожке конного двора (называлась она конторой), блаженно вдыхая аромат темных лиственничных стен, смешанный с запахом супони и лошадиного пота, и созерцал упряжь (дуги, уздечки, хомуты, чересседельники), висевшую на деревянных крюках по стенам, где на красивых табличках были написаны имена лошадей. Было их около двадцати, и каждую я знал в лицо. Распрягание от упряжи, в котором я вначале соучаствовал, и которым позднее занимался сам, было глубоким сном, когда господствовал сам атман. "Направь свой взгляд внутрь и сделай его абсолютным!" - так я делал в те отдаленнейшие времена, еще не ведая о существовании индийского опыта.

Прежде чем мне доверили запрячь, поехать, а потом распрячь лошадь и вывести её из телеги, я сотни раз наблюдал за этим процессом. Наблюдал каждый раз как замороженный, с тем абсолютным вниманием в каждую долю времени, какое во взрослом состоянии уже не было мне доступно. Странно, но все эти казалось бы обычные движения рук и пальцев и перемены поз тела моего отца или конюха или коновозчика каждый раз притягивали меня странным спокойным волнением. И всякое вещество, всякий материал, который в этих процессах бывал задействован (вожжи, веревка, супонь, сыромятная кожа, дерево и т.д.), воспринимался мною как что-то метафизически значимое и вечное, нам доставшееся от какого-то древнего мира. Здесь я созерцал древнейшие из жестов человеческих, созерцал древнюю мистерию под названием "человек и конь". Запрягание-распрягание было подобно глубокому сну, в котором бодствовал один лишь мой вневременный Наблюдатель.

В людях следует искать и ценить то замечательное, что в них есть. Разумеется. Чаще всего оно занимает не весь объем человека или даже малую его часть. Но стоит ли на это сердиться и набрасываться с критикой на другую, нежную, как тебе кажется, его составляющую? Опusti это, не гневайся, не спорь, не копайся в противоречиях чужого ума и чужой души. Не демонстрируй себе и другим свою "проницательность", не пытайся выглядеть более совершенным, нежели человек рядом с тобой. На твой век тебе вполне достаточно своих противоречий и ошибок.

Рождено было моё тело, оно-то и умрёт неизбежно. Но моё трансцендентальное тело: разве где-то было зафиксировано событие его рождения? Впрочем, быть может существует какая-то другая форма смерти, нам абсолютно неведомая.

Работать на культуру это все равно как трудиться над проектом поворота сибирских рек.

И рукописи, и книги, и города сгорят. А светящаяся вертикаль останется. Каким способом - не наше дело.

Все истинные религии знают, что молитва не может быть словесной, что она должна исходить не из уст и не из головы. Как же мы можем считать истинную поэзию словесным искусством?

Уж миллионы раз доказали, что художественное произведение - это торжество формы. Господи, мне это доказали и внушили еще в пятом классе школы. Да что там, сию мысль вколотили в мозги поколений словно "приказ по армии искусств". А потом все художники с большой буквы только и делали, что топали на меня ногами, крича: "Думающий о важности содержания - евнух от литературы!" И все же я втихаря, таясь, укрываясь от бдящих взоров, погруженный в созерцания, думал о содержании еще с малых лет: о содержании облаков, ручьев, таёжной чащи, шелеста листвы, о смысле медитации пшеничного или гречишного поля, или озера с его богами и таинственными рыбинами, не дающимися взору человека, хотя иногда я их и видел; думал о содержании любимых стихов, рассказов, романов, сюжетов Казакова и Кима, Штифтера и Акутагавы, размышлял над содержанием историй из библии и исторических хроник, над притчами Соломона, поучениями Упанишад и символов Махабхараты, над духовными завещаниями великих, над сюжетом их судеб, над содержанием жизни Сквороды и Толстого, моего отца и мамы... Когда я не находил в романе или в стихах или в музыке содержания, а наблюдал только форму, её игру (боги не обделили меня способностью наслаждаться этими играми), я очень быстро начинал скучать, а потом бежать из этого безкислородного загона. Потому-то мне не интересны были Джойс, Белый, Набоков, Пастернак, Прокофьев и многие другие гордецы формами, казавшиеся мне никогда не страдающими. (Возможно,

я ошибался, но произведение искусства рождается только в точке спонтанного восприятия). Ковры, тканые на Востоке, висевшие у нас дома по стенам, я созерцал в детстве и отрочестве снова и снова, обретая в их орнаментах бесконечное содержание. Ковры были прекрасны, потому что те, кто их ткали, вовсе не считали себя художниками и тем более гениями. Этой грязи в них не было ни капельки. Содержание - это, конечно, не идеи, не сюжет сам по себе, но тот бог, который незримо живет и дышит в тех материальных формах, которые наша интуиция отыскивает в бесконечном океане нашей пневмы-души.

История чань насчитывает две с половиной тысячи лет (по крайней мере, но скорее всего много больше). Приходила ли патриархам чань в голову идея философствовать, сочинять мудрые тексты, играть словами и парадоксами? Какое нелепое предположение. В том-то и суть, что путь к пробуждению лежал поперек матрицы говорения и тем более письма. В равной мере великомудрым индийцам за десятки (а может быть и более) тысяч лет не приходила в голову безумная идея философствовать: претенциозная, сладострастная и глупая. (Что в конце концов и понял на западноевропейском материале Хайдеггер, заговоривший о необходимости абсолютно иного Начала). Ни Упанишады, ни Веды, ни Махабхарата не есть философия. И то, что в России начали появляться философы, - возможно, знак не радостный, а грозно-трагический, знак утраты русского интуитивного, дологического самостояния.

Во все времена окормливать снобов (ставших таковыми то ли по зову воспитательного эгрегора, то ли по некоему качеству мозга) интеллектуальной изысканностью было делом пустым и (как показывает история) зловредным. Тем более это зловредно сейчас, в эпоху чудовищной взвинченности цен на эго, притом, что само эго верит в свою "творческую" сверхценность. Накаченное едва ли не предельной информированностью (в модусе изысканности) эго, естественно, однажды лопается, заражая ядом землю. Состав этого яда столь многосложен и столь вне органики, что едва ли земля скоро от него избавится.

Можно сделать и более широкий вывод: явился новый тип человека -

жадного до всяческого заглота. Всякого материала, в любой сфере. В культуре и в странствиях, в эротике и в философии, в филологии и в эзотерике. В чем угодно. Инфернальная возбужденность заглота. И потому этот человек бежит. Никто его никогда не догонит. Не хватит скоростей. Едва ты его настиг и подумал о том, как начать разговор и знакомство, как он уже утёк, убёг, его унесло внезапным течением. С ним невозможно дружить, его невозможно обнять по-настоящему, ибо он превращает объятие в скользкую интеллектуальную игру метафор и фейерверков, в выверт воображения и похоти, в мертвый осиновый кол. Но он так счастлив, боже мой, так счастлив, его почти разрывает от непрерывного экстаза. Откуда такая прочность? Что за этим, какие боги, какой Бог? Куда этот путь, от кого он бежит? Вот она - непостижимость в чистом виде: в фигуре летящего змея-hoto, заплывающего самого себя, уробороса. Где та малая малость, что упокоила бы его великим Покоем, где тот его квадрат, что не имеет углов?

День шестнадцатый

На земле царствует эстетический фашизм - это очевидно. Вся культура со всеми ее парадоксальными и интеллектуально изощренными выпадами, воплями, фейерверками, забросами и неводами, со всеми религиями, всё же пребывает внутри огромного сака эстетики. И чуть кто высунется из него - как уже вне человечества. Любая исходная форма энергии трансформируется в чувственно-эротическую, ибо цедится сквозь эстетические фильтры, так что любое говно, гной и кровь преобразуются в красивые фейерверки, в сентиментальные панно, в "музыку сфер". И изящная дама-писательница, лежащая на пляже Коктебеля или Фороса с томиком "Так говорил Заратустра" на песке или гальке, заглядывая к соседу, видит там том джойсовского "Улисса". Они потребляют само существо омраченности, но ни одним микроном души не догадываются об этом. Земля спит в чувственно-эротическом Сне. Когда уснула, когда проснется? Неизвестно.

Наш либерал со счетами в западных банках. Ломает комедию, охает над русским человеком, который, де, "выживает, а не живет". Отбросим политику. Но ведь он весьма примитивно не понимает, что "выживание"

и есть нормальное состояние человека на земле, выживание души, а вовсе не "наслаждение жизнью" во всех его секулярных убогих смыслах (пожрать за пятерых и т.д.). Два счастья всё так же лежат на чашах весов, и чем выше вы поднимаете одну, тем глубже опускается другая, в точности как с добром и красотой. Наш западник никогда не поймет, почему наблюдение простого русского человека за тем, как европеец с потрохами погружен в "наслаждение жизнью", вызывает в нем неподдельное отвращение и ужас. Послушайте русские казачьи песни в естественно-народном исполнении. Где-нибудь на окраине села или "в чистом поле". И вам всё станет ясно, то есть вообще ВСЁ. Будет видно во все концы, как говаривал наш классик.

Именно в "выживании" (в поте труда жизни, в возрождении себя из праха и пепла) и являет человек Себя, и Западу в известном смысле следовало бы не жалеть русских людей за их "социалистическое рабство" (будь западные люди способны на хотя бы в малой степени сострадание, они бы не участвовали в зверских нашествиях на Русь), а завидовать нашему опыту предельных нагрузок на плоть и душу. Это Бог жал нас как жмут виноград. Нищета Индии и тяжкий опыт многосотлетних её пленений то мусульманами, то англичанами - великий пример, и умному этого достаточно.

Размышляю над признаниями (опубликованными) известной русской поэтессы, что духовным центром она неизменно ощущает Рим и Ватикан. Веет странным хаосом. Помнится, для живых душ центром приватного космоса неизменно было божественное сознание внутри самой этой души. Сознание это было одновременно и светом, и оком. Разговоров о центре вообще не было и не могло быть в восточной парадигме (в которой мы взращены, и Пётр не сумел нас перемолоть на свой бедламный эстетский лад), поскольку мир в этом смысле имел симфонию бесчисленных равных центров "внутреннего-мирового-пространства". Когда же души окуклились, то явилась привычка сравнивать, основа внимания перешла на внешнее, а вместе со сравнением пришла зависть. Зависть привела к понятию центра культуры. Так культура стала внешней по отношению к ядру человека. Явились центры: Афины, Иерусалим, Александрия, Рим... Душа человека стала чем-то периферийным и зависимым, она подобострастно алкала культурной пищи, то частичного, то сплошного сур-

рогата. (Началась эра потребительства и, соответственно, "авторского" искусства).

Для живой души и сегодня духовный центр вселенной - там, где пребывает эта душа. Даже Кайлас или гора Аруначала или Белуха - всего лишь вспомоществление в медитации, не более того. Беготня за махатмами, ашрамами, ретритами, за белым братством и все прочие географические маршруты - дань западным стереотипам приключенчества.

День семнадцатый

Вчерашний день, как и позавчерашний прошли без единой мысли. Валялся на сеновале с остатками прошлогоднего сена, а потом просто ничего не делал. А в промежутках смотрел, слушал, носил воду, наводил порядок в сарае, сидел на берегу речки, что-то чертил на песке.

Толчок к размышлению дало письмо еще одного "недовольного". Очередной Петр Чаадаев. Есть почвенные люди, а есть люди культуры. Если ты человек культуры, то чего тебе делать в России, где человек обречен на неуют и страдания? Культура современного типа (на переходе от постмодерна к пост-хайтеку) принципиально беспочвенна. Ее производитель и потребитель - существо, которое я склонен называть абстрактным человеком. Соответственно, абстрактные, беспочвенные люди всей планеты, объединенные абстракцией культуры, вполне "законно" обожают дрейфовать в поисках, одни: интересной для себя вариации культуры, другие: лучшей жратвы и удовольствий. У почвенных людей, которых становится всё меньше (культура с младенчества вовлекает людей в свой сладкий морок), своя жизнь и судьба, вполне частная и укромная.

Абстрактные люди, даже если они формально и русские, разумеется, всегда будут нападать на Россию, произнося все трафаретные известные против нее инвективы, в том числе оксюморонное: она недостаточно культурна. Русские почвенные люди всегда и при любом строе будут жить безалаберно, всегда будут доставлять друг другу массу проблем и неудовольствий вследствие

упорной склонности быть всегда и при любых обстоятельствах спонтанно искренними, то есть с точки зрения людей культуры - варварами. Дискомфорт и даже боль от таких соприкосновений гарантированы, равно и всё остальное, частично описанное Достоевским. Сблудн слнать в безболевоу хронотоп, в сплошоу комфорт давно не был столь велик и почти всеобш, как сегодня. Абстрактный человек, вращаясь и обкатываясь в комфортабельной культуре, уже забыл, что комфорт души означает ее самоуубство. Душа именно-таки нуждается в болезненных ощущениях, в сильных болевых ударах, в предельных напряжениях внутренних жил. Нельзя вне почвы обрести ее глубинный дух. Мудрость идет из почвы. Ни один мудрец не выросал в материальном и культурном комфорте. Гаутама бежал из дворца.

Русский человек, сколько бы его ни окультуривать, всегда будет всего лишь плохим учеником. Его коренной инстинкт презирает западную культуру в ее дльщемся хвастливом варианте последних столетий. И дело не столько в эгопрагматике европейца, делающей его вечным мещанином, узким и акосмичным, и даже не столько в его перманентном зоологического свойства фашизме, сколько в его абсолютной лживости. Русский почвенный человек никогда не научится эквилибристике дозирования правды и искренности. Он никогда не научится филигранно чувствовать, кому сказать шестнадцатую частицу правды, а кому целых 25 её процентов. Русский почвенный человек ценит в общении импровизационный момент, всякая форма отрепетированности живого поведения представляется ему омерзительной. В то время как западный человек культуры панически боится непредсказуемостей, у него всё давным-давно разграфлено и продумано. Бессчетие выученных шаблонов, благодаря которым общение катится как по маслу, без малейших эмоциональных царапин и нервных затрат с обеих сторон. А русскому почвенному человеку люба как раз первобытность соприкосновения глубинными слоями психик. Никто не знает, с чего всё начнется и чем закончится.

Поэтому какой бы культурной выучке ни подвергался русский почвенный человек, он останется в лучшем случае пародией на европейца, ибо в глубине души он презирает всю эту отглаженную и накрахмаленную стерильность, всё это благообразие размалевок и заготовок, под которыми нательная, безбанная грязь. Но если каким-то

трагическим чудом случится, что почвенных людей в России не останется, а все сплошь станут культурными людьми западного типа, то можно будет с уверенностью констатировать, что русские как этнос исчезли. Русскость и европеизм - две вещи несовместные.

Вот эту пародию на европеизм в лице наших элит Запад и наблюдает с законным презрением.

Скажу больше: русский человек не создан для социализации, он волк одиночка. В больших городах он нелеп, неуклюж, груб, неотесан, анархичен, скандален, ну и т.д., ибо порядок города он презирает, если не сказать большего. Его воротит от парфюмерных вежливостей и лакейско-барского чирикания, от лживых улыбок и лживых объятий, от лживой круговой доброты копеечного разлива, от судорожных вонючих комплиментарностей. В нем по-прежнему много от того Пугачева, которым восхищалась Цветаева. Он уместен в деревушках и на хуторах, внутри степей, лесов и долин. Он друг природы, но не людей. Русский человек очень трезво смотрит на ситуацию мира, понимая нутром и своей беспримерной, опять же волчьей наблюдательностью, что "человек" - звучит подло, что человек страшная бестия, что он насквозь грешен и лукав. Вот почему любое крупномасштабное сожительство в городах-миллионниках в попытках умилительных дружб и всеобщего уюта-веселья представляется русскому человеку отвратительной комедией. Порядок капитализма в шакер-лукумной упаковке "лапотный" русский человек точно так же однозначно не принимает, как не принимали его Лев Толстой и Достоевский. Поскреби русского и найдешь либо поэта, либо юридивого.

Однако по всей Руси вдруг запели нынче (словно из ниоткуда, словно божьим промыслением) мужики и бабы старинные казачьи песни. И молодые запели. Да как запели! В точности как пели прежде наши отцы, деды и прадеды. И столько сокрытого, накопившегося вдруг явило себя, что и слушать без слез невозможно.

"Я подобен ребенку, который не явился в мир... Я сердце глупого человека. О, как оно пусто!.." Это Чжуан-цзы, но как это по-русски! Как это по-древнерусски! Надо ли это комментировать или пояснять?

Или у Лао-цзы: "Человек с высшим Дэ не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен..." Это тоже глубоко по-русски. Это та глубина целомудрия, из которой как раз и поются древние казачьи песни. Не лезть в мироздание со своими тщеславными убогими интерпретациями и рацпредложениями.

Культура эпохи модерна (начавшегося с Реннесанса) построена на желании нравиться. Почвенный человек сторонится культуры. Он занят, по утверждению Лао-цзы, упражнениями в Дао. Он очищает себя от малейших наслоений актёрства: зла эпохи кали, отчуждающего человека от его центральной вертикали. "Тот, кто упражняется в Дао, ежедневно теряет что-то из его внешнего, ложного блеска. Потеряв, снова теряет и так доходит до недеяния. (То есть до состояния, когда в тебе нет ни атома желания покрасоваться, заявить о себе, "показать себя"). Бездействуя же, он может всё свершить". В состоянии этой исходной чистоты любые действия будут благими.

Почвенный человек берет за образец землю и небо. Поэтому он не стремится к созданию или к созиданию.

Почему наивно искать в книгах ответы на главные вопросы? Потому что едва гениальный искатель внезапно понимает главное, как его навсегда покидает даже малейшее желание участвовать в общественных играх. Вождение тщеславия, даже самое малое, покидает его. Вот почему великие учителя не оставили ни одной записи. Всё, что о них известно, - это записки их современников. Чудесное исключение - "Даодэцзин", написанный за двумя чашками чая Лао-цзы (так называли того, кто сам себя не называл никак) на Западной заставе в ливневую, страшно грозовую ночь, в ответ на мольбы трех пограничников-монахов, каким-то чудом догадавшихся, что перед ними волшебное существо. Лао-цзы был накануне последнего Превращения; да, он снизошел, ибо пережидал непогоду. Больше его никто не видел.

Восемнадцатый день

По Ницше, здоровье - благо, поскольку человек - хищник. По Швейцеру, здоровье - возможность к активному, энергично-телесному со-страданию. По С. Вейль, здоровье - соблазн, а нездоровье - помощь свыше на блаженном пути возврата и слияния.

Когда нас что-то по-настоящему трогает, задевает до сердечных глубин, мы чувствуем и понимаем, что то было действие не красоты, а чего-то иного. Как-то одна женщина рассказывала мне о том, как бродила по Севастополю, куда недавно переселилась, очарованная, но не красотой, а чем-то иным. Она рассказывала довольно долго, пытаюсь объяснить мне то новое для нее чувство, боясь, что я не пойму главного в ее сумбурной речи. Так, слушая народные песни, внутренне замолкаешь не от слов и не от эмоций, а от того, что пение затронуло в тебе некую глубину.

Сколь фундаментальна была любимая интуиция Рильке, можно понять по тому факту, что Хайдеггер открыл в учении Гераклита по существу ту же самую форму связи первочеловека с корневищем сущего. "Человек распылен в сущее и рассеян в него. Поэтому он не обращает внимания на бытие..." Как совершить возврат? Вслушиваться в Логос. "Люди в разладе с Логосом". Поэт налаживает с изначальным Логосом лад. Симоне толчок к этому сакральному ладу давали григорианские хоралы. Народу этот лад давало живое пение древних песен в семейном кругу.

Всё подлинное не заманчиво. Всё заманчивое неподлинно. Поэтому Лао-цзы и говорит: "Слово, исходящее из Дао (Пути) так блёкло! Оно едва-едва различимо!" Музыка И.-С.Баха была подлинна, когда ее умели различать немногие. Впрочем, сегодня торговцы от искусства уже и не знают, чем заманить. Всё испробовано. И все же продолжай искать среди блеклого, не блестящего, не заманного.

По поводу предпочтения Фридрихом Ницше искусства перед истиной. Но если мы возьмем любое богоявление истины - Будду, или Кришну,

или Христа, или Франциска, или Серафима, то обнаружим, что сущность истины - этическая. Ясно, почему все люди-гордецы с мощным хватательным инстинктом изощрались этику не замечать, предпочитая то Аполлона, то Диониса в их эстетических пафосах; смотря по обстоятельствам.

Искусство - сладкая иллюзия истины. Высшее, на что способен поэт (в любой области) - ощущать пограничье, интуитивно трогать зыбкую грань, отделяющую мир, запертый в слова и символы, и мир не-сказанный. Тот мир, что не продашь, не пустишь в оборот.

Б. Пастернак: "Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила". ("Охранная грамота", 1935). Следовательно, вкусу учил Сталин, любимец. (Но так оно и было). Такое впечатление, что все они были бессознательными ницшеанцами, все-все, кого принято читать и восхвалять. В семидесятые годы к ним присоединился Бродский и К°. Всё то же самое: вкус, сила, эстетика. Красивые стихи? Ну да, конечно, кто же спорит. Но с лица, как говорится, воды не пить. Всё как-то забывают, что Ницше был ярчайшим представителем сугубо и радикально эстетического взгляда на мир и понимания мира. Лишь поэтому у него такая слава. Рядом жили и творили великие этики, но кто их знает, а тем более читает? С чудесным сарказмом об этом еще раньше размышлял Кьеркегор: об этом массовом штурме "эстетических профессий", когда даже желание философствовать или священствовать исходило из жажды быть на виду.

В воспоминаниях Пастернак подчеркивает две стороны в Маяковском: актерскую и звериную. Обе, разумеется, с плюсами. Иван Бунин заметил в Маяковском гротескное актерство и органическое хамство. Было ли это следствием "звериности"? Сомневаюсь. "На тарелках зализанных зал / будем жрать тебя, мясо, век!" Или: "На черном граните греха и порока / поставим памятник красному мясу!"

Идея силы в контексте нашей эпохи и нашего времени - гнетущая и роковая, ибо это главная идея всей западной цивилизации: бить на эффект, давить, повелевать, грабить, доминировать, подчинять. Вот почему Маяковский так безусловно действовал на Пастернака и Цветаеву: повелевающий залом, аудиторией, "электротом". За этим

тысячелетние анклавы жажды мирового господства. Ненасытимость.

В той же "Охранной грамоте": творческий акт есть явление силы. Но почему бы не воспользоваться словом "энергия": творческая энергия, творческая воля. Да потому что революция это террор, потому что Маяковский террорист. ("Он был весь в явлении"). А творческая энергия невидима и неслышима, она позволяет расти в тишине. Но всё растущее поэтам, пестующим свою возбужденность, было ненавистно. Даже Есенин поддался революционной наглости словес, ибо стихия века - сила Болтовни. В "Ионии": "Даже богу я выщиплю бороду/ Оскалом моих зубов... Проклинаю я дыхание Китежа/ И все лоцины его дорог..." Все косяком шли в пророки, в святые и в апостолы. Каждый объявлял себя мессией. Длиться такое "творчество" долго не могло.

Дело в том, что слово уже само по себе цинично, словесность есть форма цинизма. (И это наблюдение ни в коем случае не условность). А изощренная словесность - путь к изощрению цинизма и полный невозврат на пути целомудрия. Соответственно, рост изощренности и эстетической соблазнительности текстов (захват воли, насилие над волей) - погибельное свидетельство цинизации писательской психики и "культурного сообщества". Пастернак причиной самоубийства Маяковского называл уязвленную гордость. Но неужто 37-летний муж похож на тринадцатилетнюю девочку, прыгающую из окна, потому что её "обидели взрослые"? Нет: обвальный психический тупик, мрак истощенности. Да, но какова причина этого? Маяковского, как и Есенина, убил их собственный филологический цинизм, языковая разнузданность. Это ж и стало причиной самоубийства нынешней цивилизации. Вирус велиара, разрушающий саму основу сознания, превращающий его в клоаку и черную дыру.

Конец света не есть истощенность ресурсов экономики. Это именно конец света в человеческих душах: господство мрака. Захламленность и чернота сознания, полная оторванность от серебряной Оси. Зеркало сознания густой несмыываемой грязью замазала разнузданная филологичность. "Вначале было слово" надо понимать как указание на струну, которую надо хранить бережно и касаться нежно, трепетно и благоговейно. Прикосновение к слову могло быть только целомудренно. Говорить

следовало лишь в крайних случаях, предоставляя свершаться взаимопониманию в ритмах молчаливо-чуткого соучастия в мистерии жизни.

Сами нынешние стихотворцы хотели бы, чтобы поэзия была фактом языка. (Крайне настойчивы в этом). Мне же она интересна преимущественно как факт духа. Вот почему поэты для меня так редки. Дух редко посещает слово, еще реже - человека. А чтобы сразу обоих... "Нет ничего в Поднебесной, что можно было бы сравнить с учением, не прибегающим к словам..." Да!

"Европеец омерзителен в глубине своих глубин. И он тем очаровательнее, чем ближе к его поверхности", - запись в моем дневнике примерно сорокалетней давности. Тогда я не мог, конечно, ни с кем поделиться этим знанием. Сегодня я бы добавил к этому: русский трогателен в глубине своих глубин, но чем ближе к своей поверхности, тем непрезентабельнее и шершавее. Но! Но: избегай бороться с шершавостью. Она нас бережет. Ибо полированный человек это не человек, а машина. Не верьте полированным людям и отполированным сознаниям.

И все же задумчиво сижу над томом рефлексивной прозы и писем Пастернака. И словно вижу двух разных людей. С одной стороны, славословия режиму большевиков и товарищу Ленину продолжались даже еще и в 1956 (!) году. (И ни словечка об убиенных комиссарами-иноверцами шести миллионов русских казаков). А с другой стороны абсолютно новое у позднего Пастернака понимание художественной речи. В этом смысле читать его письма последних двух-трех лет одно удовольствие. Вот как он определяет слово "талант": "Поразительно то, что прирожденный талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце... Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования..." (Кайсыну Кулиеву). В "Людах и положениях" (1956 г.) формулирует как режет: "Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог".

А вот еще устремлённое к сути: "Мне близок Платоновский круг мысли относительно искусства, нетерпимость Толстого и даже, как вид запальчивости, иконоборческие варварские замашки писаревщины... Искусство не доблесть, а позор и грех, почти простительные в своей прекрасной безобидности, и оно может быть восстановлено в своем достоинстве и оправдано только громадностью того, что бывает иногда искуплено этим позором. Не надо думать, что искусство само по себе есть источник великого... Всякая творческая деятельность личной сосредоточенной складки есть пожизненное заглаживание несовершенной неловкости и неумышленной вины..." Здесь очевидно Пастернак исповедуется. "Вы спросите, - как же я тогда занимаюсь тем, что так низко ставлю и осуждаю. Но ведь грешат-то люди не потому, что считают грех добродетелью, а из слабости..." (Вяч. Иванову, 1958 г.) Замечательные строки! За роман он сел с жадной испуления греха тщеславных амбиций стихотворства. Для него это был истинно метафизический и экзистенциальный Поворот.

В том же письме Вяч. Иванову: "Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец..." И будет ли успех у романа, его не интересовало. Здесь явные плоды пожизненного диалога Пастернака с Рильке, который всё чаще выводил свое творчество за пределы искусства, осознанно теряя интерес к читателю и слушателю.

Пастернак в конце концов почти вошёл в понимание творчества как приватно-космического творческого акта жизни.

Итальянские гуманисты в свое время абсолютно неверно поняли суть греческой гармонии. Эта суть заключалась вовсе не в отмене этики, не в гегемонии "принципа тела", как им показалось. Древние греки переживали и почвенный космос, и свой собственный как неизъяснимую сказку, и этот трепет перед божественной неизъяснимостью одушевлял их тела, бывшие частью того мифа, который в Китае назывался дао. Душа не выставлялась отдельно, напоказ (тем более на продажу), но пропитывала всё и вся, до невозможности ее выделить и посмотреть как на вещь. Этого гуманисты понять не хотели, ибо им хотелось встать на место Бога и богов. Но у древних-то греков

даже чашка в уборной для слива или дверная ручка были божественны (во всякой вещи светилась частица одного из бесчисленных богов, а если вещь при этом получалась прекрасной, то ведь это мы даем ей такую оценку, а вовсе не греки). А у гуманистов дверная ручка делалась в качестве произведения искусства и становилась им: предметом тщеславного гонора, с одной стороны, и восхищением гениальным мастером таким-то, с другой. В эту пропасть всё и начало ухать. У древних не было произведений искусства. Иконы не были произведением искусства. Душа не может выставить себя на обозрение. Казачья песня потому и есть прямая эманация душевного центра, что не пелась для внешних ушей. Мир был не дихотомичен, царствовала адвайта.

Разве случайно, что у одного из первых гениев, "освободившихся от Бога", - у Леонардо - проснулась внезапная ажитация на изобретение всякого рода машин? Какие-то демоны его одолевали. А эти улыбочки, ухмылочки его персонажей из разного рода пантеонов, то и дело вспыхивающие на его картинах? Кстати, именно это, надо полагать, и вызвало, и вызывает зрительский ажиотаж "нового человечества". Эти ухмылочки на заднем плане (проблески будущего постмодерна) и восхитили. Вполне понятно, чьи это ухмылочки. С тех пор и вошло в моду косвенное портретирование. Тут уже была видна и вся машина чувственности. Ведь эрос амбивалентен.

Искусство Средневековья и более ранних времен нас скорее удивляет, чем трогает. Там нет субъективности в близком нам смысле. Там нет фермента "гуманности", на котором выстроена индустрия искусства нового времени. Гуманисты, внедрившие гуманность, воспели абсолютную сосредоточенность человека на своем "я". И вот ныне там, где нет предельно субъективизированного "я", нам становится моментально скучно, как бы совершенна ни была музыка, фреска или текст. Там, где не затронута святая святых - мой эгоизм, моя беспредельная сосредоточенность на крошечном нерве "я", там мир для меня пустеет. Как только искусство обращает внимание на бога-во мне, на мои божественные пространства, как во мне прерывается страстность интереса.

(Гуманное к кому-то отношение - это эгоистическое отношение соревновательности; вот встретились два *высших существа*, кто же

из них выше и сильнее? Нет силы, кроме юриспруденции, которая бы разрешила их спор. Но суд не скажет, кто из двоих достойнее и благороднее, а тем более мудрее). Гуманные отношения были внедрены взамен божеских, христовых, любовных. Восторг при виде себя стал краеугольным камнем всей западноцентричной культуры. В мире стал властвовать один закон - беспредельность удовлетворения желаний моего "я". Соответственно все акты познания и "духовные опыты" тоже стали частью приватного эксперимента определенной абсолютной психосоматики. Появление таких эстетиков и этиков как де Сад и Батай невозможно в присутствии Души.

Искусство и культура (включая поэзию и музыку) новой, финальной эпохи - парадигма, играющая на человеческой атомарности, шлифующая, углубляющая и укрепляющая её. Исключения крайне редки. С этой позиции видно, сколь наивны всегда были рекомендации "исправить нравы" с помощью искусства.

Девятнадцатый день

- Знал ли ты женщину, которая мечтала бы забеременеть от бога? О нет, только не рассказывай мне о юных лицемерках из католических приходов. Я имею в виду настоящих женщин, способных смотреть в лицо, а не кидаться за очередной модной экзотикой.

- Но разве бог - это мужчина? Разве он не качество нас самих, которое непрерывно от нас ускользает? Разве он не качество процесса, который морочит нам голову?

- Неужели богу интересно морочить нам голову?

- Ты бы начал с того, чтобы следить за богами; послушай, как они проникновенно щебечут и молчат в каждой бутылке и склянке, в каждом колоске и в каждой сороке. Понаблюдай за тем, как непостижимо терпеливо сносят они свое плененье.

- Неужели и сам Господь тоже в плену?

- Но разве мы можем представить другого Бога? Разве мы можем представить себе что-то не антропоморфное? Неужели ты думаешь, что сорока видит сороку так же, как мы, а стрекоза - стрекозу? Оставь надежду познать мир -

ты, сюда входящий. Мы даны сами себе в тысячах зеркал, и нам не выйти из этого лабиринта.

Он снова пришел ко мне, хотя и возбужденный, но трезвый.

- Я не помню того, что я знаю. Я забываю свои личности и лики. Мне не узнать того, что я узнал и запомнил. Я отделен от себя почти непроницаемой пеленой. Вьюгой, пургой, метелью, смогом, туманом. Это и есть одиночество. Никогда не быть богом. Бог помнит всю свою память, все свои превращения и самообманы, бог - это не количество энергии, а качество её, качество жизни, процесса, почти вырывающегося из колеса иллюзорности, из нескончаемого кинематографа. Что проку в моих рожденьях, если я никогда не возрождаюсь. Если я всегда в полупробужденьи. Если она заперта в кошачьем взгляде. Много ли я узнаю, заглядывая под каждый куст, вжимаясь в каждые уста? Как пуст изустности искус. Всего лишь музыка - слова и сочетание рук и кожи встречной шелест.

Взбешённость - вот что стоит между людьми искусства, между человеком искусства (искушаемым) и человеком шляющимся, шалтай-болтайным, мутно-никаким: восхождение бесов, беснование возмущенных непроницаемостью - ни зги. Одиночество во все концы. Никуда не доскакать. Заселяй Марс и канитель будет нескончаема. Но до себя не долететь никому. Слишком близко. Сила прыжка выбрасывает тебя невероятно далеко, и возврат становится почти невозможен. Взбешённость слишком велика, чтобы перестать искать пути в никуда. Потому остается комната и исход из нее. Божество не страшится исхода и не ищет его, ибо проживает нигде. Ты же поселен в комнате, названной мирозданием. Куда исход? С кем ты разговариваешь по ночам, если тебя нет?

На этот раз он говорил со мной так, будто меня нет рядом или будто я его сын, которому он не успел что-то сказать.

- Что значит "путь"? Иди или не иди - суть разве изменится? Все только и заняты беготней, все только и делают, что торят себе путь наверх. К власти, конечно, к сиятельным ценностям, к богам. Все торят себе пути. Разве сегодня философствуют не ради всемирного успеха? Разве кто-то живет в тишайшем самосозерцании? Если так, то он не сообщит никому ни фонемы. Но к чему тогда толпы болтунов, невероятно красочных и красноречивых. Впавший в аскетизм не плотского порядка

разве сообщит кому о своих опытах? Преодолеть "я" разве значит навязать его каждому углу и каждому студенту? Разве это значит захлебнуться этим "я" и вообразить себя до самых кишок мессией, комиссаром ничтожеств? Научившись презирать человеческую "мразь", бесконечную череду "неудач природы", как сможешь ты уважать полководца этих полчищ, кому воздаются королевские почести? Вот почему, мой мальчик, столь тих и всегда неузнан чайный путь, не трогающийся с места. Нет аскета в своем отечестве. Нет перемен в том, кто к ним стремится.

Нет ничего нелепее, чем когда европейские философы начинают философствовать о чань. Втаскивают в воду свои интеллектуальные решетчатые бочки и тянут-потянут, а то вдруг берутся за рыболовные сети, а то хватаются за саки. Чань именно то, что скользит и ускользает подобно воде.

День двадцатый

Евро-американцы получили в своё время дзэн-буддизм, то есть японскую, сугубо эстетическую вариацию. А собственно чань их не коснулся. Но чань - это ни в коем случае не эстетика, не изящные позы самураев, не любования красивой сосной или падающими лепестками сакуры, не Хиросигэ, и не Хокусай, и даже не Мацумэ Басё. Не тонкие афоризмы Кавабаты о сияющих стаканах и белосинем снеге, не парадоксы Акутагавы, не преднамеренные, пошедшие в рекламу чайные церемонии. Чань - суровая, абсолютно асоциальная аскетика, искусство той отрешенности, что создает отдельное измерение, параллельный мир. То горный край не для слабаков, не для туристов, не для жаждущих покрасоваться или прославиться.

Ницшевское "Бог умер" и "безбожие" чань - абсолютно не схожи. В чань признается существование чего-то безмерно большего, чем Бог. Вот почему это неназываемо. Чань против любого опредмечивания, против любых попыток встать над сущим, а тем более над бытием. Ницше же как раз, называя любые разговоры о Боге пустым анахронизмом, называет также и всякие серьезные разговоры о человеке тоже анахронизмом, призывая человечество к новой цели -

к сверхчеловеку. Ницше был первым, кто четко и внятно подвел фундамент под трансгуманизм.

В *чань* вкушение неназываемо-божественного происходит непрерывно, поэтому разговор о сакральном бессмыслен. Розанов констатировал, что не питаюсь Богом, мы и секунды не проживем. Поэтому он и был чаньцем, хотя казался балагуром и эксцентриком, а кое-кому просто ловким малым, гениальным гедонистом.

Нирвана на санскрите: *nirdvandva*, что в буквальном переводе означает свободу от удвоения, от двойственности. *Чань* - один из вариантов нирваны при жизни, нирваны обыденного жизненного опыта.

Равно и сравнения реально-внесловесного опыта *чань* со словесностью Ницше нелепы. Вот последний: "Что вреднее всякого порока? - Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабакам..." Да это же типичный трансгуманизм, которому век двадцатый следовал неуклонно. Ни капельки реального сострадания. (Надо иметь в виду, что в графе "неудачники и слабаки" и вся природа). Или одна из речей Заратустры: "Вперед! Ввысь! Вы, высшие люди! Только теперь гора Человека-Будущего мучится в родах. Бог умер: теперь хотим мы - чтобы жил Сверхчеловек". Бога убили именно затем, чтобы его место заняли субъекты с высочайшей волей-к-власти, сами назначившие себя в сверхчеловеки, в "знатные". Монстры бессовестности. Именно потому "удачливые" и "сильные". По-русски говоря: выродки.

Омраченные бегут в столицы, в наибольшую энергетическую густоту/плотность в поисках витамина любви к себе, пусть он будет даже эрзацем. Просветленные не нуждаются в человеческой любви, ибо наполнены этим витамином, потому им вполне хорошо и в сельском домике или в избушке, которая для них "совершенно объективно" краше любого дворца.

Эксплуатируя природный талант, можно отсидеться в гениях, не произведя за всю жизнь даже самой крошечной духовной работы.

Еще одна, более онтологическая, причина неотвратимой демоничности искусства в том, что духовная жизнь неизобразима и не зрелищна.

Душа недостижима для попыток пластического её выявления. "Добродетель скучна". Душа являет себя только там, где нет деления на "артистов" и "зрителей", на "исполнителей" и "слушателей". А вот порок бесконечно живописен. Путь и тропинок порока неисчислимое множество, с приключениями, сюжетами и изворотами. Духовный путь значительно более единообразен, а для своего индивидуального выявления, а тем более пластического живописания требует сочетания абсолютно недюжинных и порой контрастных дарований. Такие вестники являются раз в столетие. Вероятно, о них можно сказать словами Фридриха Шлегеля: "Существуют писатели, пьющие Абсолют как воду; и книги, в которых даже собаки имеют отношение к бесконечному". Здесь щепотка романтической иронии, впрочем, самая малая.

Совершенно не случайно божье дитя по имени Новалис мечтал о написании такого романа, который был бы одновременно романом его собственной приватно-экзистенциальной жизни. Реализация принципа магического идеализма. (Вне идеализма нет художника). "Не излишне ли писать более одного романа, если художник за это время не стал новым человеком?" - замечание того же Фридриха Шлегеля, с которым Новалис был абсолютно согласен.

День двадцать первый

Приснился сон о матери. Проснулся, прорвавшись сквозь некий слезный край, почти сквозь слезный дождь.

Современные женщины стали плохими матерями, мне думается, из-за резко возросшего уровня своей интеллектуальности. Интеллект по своей природе зол, недобр, агрессивен, амбициозен, патологоанатомичен. Интеллект (когда он не слуга) есть резко акцентированное эго и принцип динамического примата телесности. Соответственно душа и ее принцип уходят на второй и третий планы. Всё это дети чутко улавливают, даже если мать не читает им мораль, а смотрит из глубокого далека, из его цветного тумана.

Высшая женственность произрастает в атмосфере минимально возможной интеллектуальности. Только тогда женская природа являет всю чару исконного целомудрия.

Возвращаюсь к афоризму "Не сойтись в сем мире сильным двум!" Сильный, считающий себя сильным, на самом деле слаб. Но будучи слабым, обманывающим себя и жаждущим повелевать и господствовать, доминировать, как он может рассчитывать на любовь к себе? Истинная любовь обнаруживает себя, когда ты видишь истинного человека в несчастье и в слабости, в кровоподтеках и репьях, унижаемым "миром сим". Сойтись в мире сем могут лишь двое слабых. Двое благополучных людей? Они могут сойтись лишь в благополучный брак.

Вот почему любовь к Богу невозможна. Трепет, почитание, страх, ужас, поклонение в конце концов. Запад в этом смысле ювелирно лицемерен. Восток честен, действительно постигая божественное основание сущего. Он понимает реальное единство Всего. "Черви, птицы, деревья могут сообщить нам невероятные вещи, если достичь скорости, на которой их сообщение становится понятным", - говорил искателю потомок толтеков. Ищите рядом. Научившись понимать свое сознание, а через это души червей, птиц, деревьев (etc.), ты становишься магом, то есть любящим, ничего не требующим и не ждущим взамен и в ответ. И три миллиона индийских богов становятся вдруг тебе Облаком.

Эпоха вытесняет и убивает всех, кто не хочет или не умеет благоговеть перед силой.

Алтарь Ван Эйка в Генте. Фрески Дионисия в Феррапонтово. Два уникальных путешествия-происшествия. Но выговаривать их не стоит.

Эстетическая парадигма (картинка, панно, сфера), да даже в виде "чистой" художественности - это лишь видимость космоса. Этическая парадигма - его сущность (она не видима, ибо не картинка и не панно и не чувственная иллюзия). Но понимание этого закрыто от нас,

нынешних людей, ибо мы трижды насквозь эстетичны (то есть моралистичны). Это наше великое достоинство и великий порок одновременно. Мудрый старик-толтек спрашивал: есть ли у твоего пути сердце? если нет, тогда твой путь бессмыслен и бесполезен. Он не даст радости. Но что такое сердце? В парадигме модерна это центр эгосамости и разврата. Надо понять и понимать, что значит сердце хотя бы в парадигме культуры традиционной зона. Диалог о сердце Юнга и индейского вождя.

Цивилизация выбрала путь сложности. Я еще в детстве (своим маленьким сердчишком) выбрал путь простоты. Изошренность и вычурность неизменно вызывали во мне волну отторжения. Даосская струна в природе и в людях звучала всего сильнее.

Сложность мира и ума есть мираж. Реальное *я есмь* - просто.

Кого и от чего спасли поезда, самолеты, лифты, скоростные трассы, миллиарды автомашин и вертолетов, миллиарды борделей и порносайтов, банков, развлекательных шоу и притонов? Кого и от чего спасла культура показа нескончаемых гнусностей?

Вся мировая культура, в своей довлеющей массе и потоке, есть фанфаронство и хвастовство, желание выглядеть, производить впечатление и т.д., и т.д. Как может из нескончаемой жажды разукрашивать себя в ослепительные одежды вылупиться нежная, любящая душа?

Не воспринимает ли истинный поэт весь мир (кажущийся материальным) в качестве духовного? Не в этом ли смысл и суть его "абсолютной" метафоричности? Не есть ли это поэтическое уяснение истины о единстве всего? Истинный поэт не может не воспринимать себя в качестве духа, постигающего телесное как иллюзорную деятельность ума и воображения. Дух связан с не-умом, то есть со сверх-умом, живущим в недуральном просторе.

Выйти на состояние глубокого Сна без сновидений - вот задача задач. Стать духом, чистым от иллюзий ума и тела. Сохранять тело и ум, но быть свободным от них, понимая, что они живут отраженным светом, что они пребывают в полумраке.

Быть услышанным? Но ведь мы живем среди сплошного, непрерывного педалирования, а если точнее - нескончаемого грохота. Каждый деятель искусства стремится дать максимальный звук, максимально яркий цвет, самую невероятную, бьющую под дых форму, сюжет, метафору и т.д., и т.п. Искусство давно уже применяет предельные шумовые наезды на читателя, зрителя, слушателя. Современный стиль, назову его условно стилем гипер-биг-бэнда, довел планку грохота и ора до атмосферы всеобщего беснования. Именно в этом сверхдавлении на все рецепторы "потребителя" суть искусства модерна и постмодерна.

Кем сегодня может быть услышан реальный ангельский голос? Вероятно, никем. Оглохли от шума: звукового, зрительного, тактильного, ментального. Прежде всего от грохота своих мыслей, фантазий и "переживаний". А кем сегодня может быть услышан поэт религиозного дыхания, не соблазненный и не соблазняющий, с голосом столь тихим, что его слышит былинка? Его тоже никто не услышит. Вот почему в "никто" и совершается истина.

Мои заочные друзья обычно не понимают моей иронии по отношению к роскоши европейских и иных американских городов, к их горделивой осанке и откровенной "креативности", почти "демиургичности". А что тут непонятного? Всё перечисленное совершенно не соответствует жалкому состоянию сердечного и душевного хозяйства человеческого. Этот блеф внешнего, эти сонмы "памятников человеческому тщеславию" и вызывает мою иронию и отторжение. Гигантская претенциозность собора святого Петра и иных, переполненных шедеврами и золотом, безумно высоких храмов разве может вызывать "чувство божьего присутствия"? Разве Бог претенциозен и хвастлив? Но в маленьких, тесных, застенчивых церковках Пскова, скроенных на присутствие одного-двух десятков пришедших не из любопытства людей я порой чувствовал нечто в себе, что вызывало неописуемую гамму чувств, где я могу определенно назвать сострадание, в котором я присутствовал, а не созерцал его извне; это не называемое чувство (зря я его назвал) делало меня прикасающимся к почве и небу, которое так же рядом, как этот побеленный камень и эта влага в глазах напротив, опущенных ниц.

И еще одно наблюдение. Мне жалко европейца, смущенного и теснимого избытком шедевров во всех жанрах, давящих на него со всех сторон. По сути он раздавлен необходимостью (волей, неволей) потреблять вещные шедевры. Он в громадных тисках. Здесь же, на бескрайних русских равнинах, среди невысоких гор и неглубоких долин, мне дана вольная воля становиться искателем, освобождающим красоту из потаённости. Я уговариваю ее явить свой лик на время, преодолев исконное свое целомудрие из сострадания ко мне. Да, она вовсе не рассчитана на всеобщее внимание и публичное восхищение. И слава Богу и богам. Я высвобождаю её из малого, из неприметного, из крошечного, почти из ничего, и из этого вырастает мое чувство свободы. Здесь я не паразит, ученный интернетом, не встроенное в улей антропологическое чучело, здесь я охотник, умеющий читать следы, изо дня в день совершенствующий свое внимание и свой личный слух. Какой кошмар, если бы меня переселили на ПМЖ во Флоренцию или в Венецию. Первые полгода - наслаждение. А затем: какая тюрьма, какой коллапс. Чувство себя болванчиком от назойливо-надменных проекций. Жить надо в эстетически нейтральной среде.

Красота - явление интимно-духовное, другой красоты не существует, все иные красоты - подделка. Красота - не сумма пропорций и гармонических созвучий. Глаза и уши легко могут быть обмануты. Держите в чистоте и сухости нос.

Люди хватаются за "описание мира" как за поплавок, чтобы не утонуть в море безмолвия. В мире без этикеток и символических маршрутов/графиков, в мире молчащем человек теряется, теряет своё эго. Человек разговаривает с людьми и с собой, чтобы поддерживать то безумие, в которое его однажды втолкнули. В молчании его беспокойство неимоверно возрастает. И вот он уже не знает, ни кто он, ни зачем он. Ему предлагается собрать мир заново, но по-своему, то есть интуитивно. От этой паники он сходит с ума вторично.

У Готфрида Бенна есть позднее стихотворение примерно на эту тему: "Отчий дом".

Когда оперся одиноко ты о ночь
чуть во хмелю, храня паров истому
бредя сквозь снег, пургу, сквозь искр разящих дождь
бог знает из чего бредешь дорогой к дому

мой отчий дом, ты где, стоишь совсем пустой
конечно я бы мог тебя наполнить речью
всю мудрость болтовни втащить как на постой
чтоб время кинулось само ко мне на плечи

но позади него и впереди все те же родовые мои звенья
деды и внуки в дробности смешения надежд:
не думаешь ли ты что тиканье в тебе и пенье -
всего лишь древний бред, безумие одежд?

Что может добавить к этому читатель? Отчий дом - кто ты? Древний бред, безумие сменяемых одежд или живительный кокон? В чем удерживает нас язык? В суицидальном плену, в оторванности от подлинного дома или он просто фильтр, оберегающий нас от сокрушительного урагана Плеромы?

День двадцать второй

Просматриваю свою переписку с физиком-экспериментатором, поэтом Владимиром Мялициным, который пытался защитить Достоевского от пристрастного внимания писателя Леонида Цыпкина, подозревавшего нашего гения в антисемитизме. Я вполне согласен с Мялициным: Достоевский, разумеется, не был антисемитом, несмотря на весь свой холерический темперамент и ментальную страстность. Вообще вируса расизма в русском человеке отродясь не было. И все же он не мог не видеть особого характера еврейской экспансии в русскую культуру. Однажды наш гений высказался в письме по проблеме, которая тогда весьма муссировалась в обществе: по проблеме жаления евреев. Мол, кто их жалеет, тот выказывает свою интеллигентность. Федор Михайлович отвечал своему корреспонденту: "Когда еврей "терпел в свободном выборе местожительства", тогда двадцать три миллиона "русской трудящейся массы" страдали

от крепостного права, что, уж конечно, было потяжелее "выбора местожительства". И что же, пожалели их евреи тогда? - Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел сам русский народ, кричали и жаловались, что только они забиты и мученики". (Текст воспроизвожу по памяти).

Федор Михайлович (во многом бывший пророком) обращался в этой реплике, собственно, к русской интеллигенции, судьба которой уже была будущими еврейскими комиссарами в кожаных предreshена. Приговор русской интеллигенции (а заодно и русскому крестьянству) уже был подписан. Вот почему ее даже и сегодня нет, она какая угодно, но только не русская: русского духа, о котором писал еще Пушкин в своих сказках, в ней ни на грош. "Она не видит и не слышит..." Она все время хватается за чужое, завидуя "свободе", якобы даруемой богатством и эманациями "мировых красот".

Впрочем, о еврейской доминанте в литературной критике (в жанре интерпретации культуры) с тревогой писали еще Чехов, Розанов, Андрей Белый, Куприн и многие другие. Чехов писал о непонимании этими критиками "русской коренной жизни, её духа, её формы, её юмора" и, соответственно, о категорическом непонимании существа русской литературы. Если б он знал, что с 1917 года в России будет полностью искоренена русская точка зрения на любой предмет. Громадность этой катастрофы нами еще не осознана.

Интеллигенции у нас нет, но есть духовные (пытающиеся жить в касаниях духа, пусть и нечастых) люди, хотя их, вероятно, очень мало и разбросаны они по самым разным скромным профессиям, не имея ни малейших выходов "в общество". Они маргиналы в чистом виде. Я их встречал и встречаю. Но они весьма мало интересуются искусством. Им достаточно природы. Они с Лао-цзы и с Пришвиным, а не с виртуальными мозговыми измышленностями. На досуге они поют для себя русские песни. К этим людям примыкает низовая, стихийная Русь, которая органически не принимала и не принимает все американского образца заманки.

Эклектика, действительно, главное свойство эпохи постмодерна. Но природа её отнюдь не эстетического порядка. Она пришла из интеллектуальной жадности, из глупости суммирования, из жажды

"всепознания". Залихватские попытки манипулировать мифологиями. Но всякая мифология - тайна конкретного живого роста, растения, этноса как организма, и извне она не может быть познана и тем более "прихватизирована". Извне возможна только патологоанатомия.

Раскрыли границы, стали всё смешивать со всем, создали чудовищно несъедобную кашу, от которой по всему телу полезли прыщи.

Жажда информации, знаний не менее отвратительна, чем жадность до денег, секса, путешествий.

Земля стала сплошным разбойничьим вертепом. Земляне - стыд и позор космоса. Таково мнение о нас духовных цивилизаций вселенной, о чем сообщал в свое время Георгий Гурджиев. Верить или не верить этому авантюристичному магу? Как подскажет интуиция.

И действительно, кому и когда человечество сделало добро? Во имя чье и когда в последний раз оно принесло благородное жертвоприношение?

Кто дал человеку право подниматься в воздух на самолетах, ракетах и затем превращать воздушное пространство в клоаку? Кто позволил терроризировать земные сады давлением воздушных демонов и их выбросами?

Между тем известно, что небо населено ангелами. Даже не так: ангелы и составляют небо.

Мы все стали абстракциями. У нас абстрактные глаза, абстрактные сердца. У нас абстрактная земля. Абстрактный человек пишет абстрактные стихи, у него абстрактная этика, у него абстрактная красота, у него абстрактные родители и абстрактная родина. У него абстрактная мудрость, которую он надувает абстрактным газом в абстрактные шары.

Абстрактный фашизм, абстрактное зло, абстрактная вина, абстрактное покаяние.

Мы каждый миг в такой пучине смыслов, что смотреть на старые фотографии страшно и больно.

Старый шкаф, старые папки... Смешные материалы от моих друзей. Некая филологиня, называвшая себя Лилит, и некая философка, называвшая себя Селена, бешено-виртуально влюбляются в знаменитостей средней руки (мои знакомые), изливая им непомерные, словесно (и даже музыкально) небезталанные восторги, вовлекая в романы и... быстро остывают, находя новые предметы. А скромная учительница Елена влюбившись в заурядного журналиста, женатого, косоглазого, равнодушного, остается ему верна десятилетиями и, когда он гибнет в автокатастрофе, кончает с собой...

Что означает в письмах у Лилит "навекы твоя"? Означает виртуальное качество вот этого мгновения, вот этого дня, этой ночи, качество ее виртуального переживания, её маленького надуманно мистического экстаза, а вовсе не прозаическую уверенность в пожизненном бюргерском союзе.

С одной стороны, здесь давно восславленное искусство отпускать прошлое, не держаться за него и плыть вместе с днем сегодняшним; а с другой - что-то пародийное и жестко эгоцентричное есть во всех этих бесслезных и бескровных "отпусканиях". Ни дня отчаяния, ни слезинки во взоре. Некий робот души. Некий искривленный эскиз в жанре имитации поэзии.

Огромной ошибкой было позволение показать человеку ограниченность Земли как материального субстрата. Это наполнило сапиенса, лишившегося трепета (перед неизвестным), самодовольством и гордыней, а затем пресыщением и скукой.

Когда любовь пытаются сделать профессией, рождается бес. Есть некоторые вещи, превращать которые в профессию - почти срамно. Не может быть профессионалом поэт или философ или влюбленный. Лишь дилетантизм и глубочайшая провинциальность хранит их свыше.

Представляю сонм возражений, массу примеров чудных философов, сделавших карьеру при университетских кафедрах. Того же Хайдеггера с его двумястами томами или Гуссерля. Но разве я говорю об этом? Да, написаны чрезвычайно умные, интересные книги. Но философ (не историк философии, не член философской корпорации и союза) реализует мудрость не словами, не ученым авторитетом, он действует не от лица ученого содружества и консенсуса, не в понятиях науки,

он устанавливает личную, безоглядную, вненаучную, внесоциумную связь с бытием. Так что, я полагаю, существовали два Хайдеггера.

День двадцать третий

В книге "Уход в Лес" - об единственно возможном способе бегства современного Одиночки от глобализационного террора - Эрнст Юнгер подмечает любопытную вещь: даже если современный вербальный язык истощен и в полном упадке, это не значит, что невозможно появление настоящей поэты. Ибо поэт живет не внешним, социально оформленным, "следящим за модой" языком. "Язык не живет по собственным законам, иначе миром правили бы грамматисты. В своей первооснове слово не форма и уж тем более не код. Оно становится тождественно с бытием... Язык тклет свою ткань вокруг тишины".

Юнгер имеет в виду, что изначальный язык, изначальная речь, лежащие в основе всех "формальных", "кодовых" языков, были неким способом бытия, то есть настолько сущностно с ним единым, что разницы между камнем и словом "камень" не было ни малейшей и потому-то никакого формального или кодово-символического слова не было. Естественно, мы не можем сегодня как-то более подробно описать эту изначальную речь, соединявшую человека с существами, предметами и сутями, соединявшими не формально, не превращая это соединение, это братство, эту любовь в символическую абстракцию формализованной игры, а хранящую аромат, вкус, чувство касания кожей, взором, слухом, интуицией. Однако если рождается настоящий поэт, то он именно откликается на эту праречь, именно она взволновывает его, пробуждает в нем древнюю память. И конечно он может пользоваться современным усушенным, машинизированным, опошленным языком, но внутренняя опора у него при этом будет всё же на ту речь-вне-речи, от которой вся сновиденная его природа трепещет.

Этика есть не прихоть и не социальный навык и не способ "регуляции страстей", а способ устройства данного нам универсума. В древнейших индийских книгах Дхарма есть основание и закон этого устройства, весьма часто она именуется Правдой в полном соот-

ветствии с нашей русской народной традицией. Мир крепится и живет *правдой* и больше ничем. И художник, этого не пронзающий, этого не чувствующий, является слепоглухим со всей своей тренькающей эстетикой. Изменяют люди Правде - и мир рухнет без всяких отдельных к тому предупреждений. Поэзия, не питаемая этой интуицией, конечно же никакой поэзией не является, ибо является эстетикой. Вот почему сегодня такое изобилие эстетиков.

Итак, есть два языка, две формы речи: современная профанная и ее древний корень: праречь. Словесные тексты подлинных аватар были и есть выражение внешней доктрины, не затрагивающей сути. Так Будда Шакьямуни передал Ананде лишь т.н. "доктрину Ока", а "печать Сердца", эзотерическая, тайная весть, осталась у Кашьяпы и передавалась от архата к архату вне письменных или предметных символов. Кармически не подготовленный, не созревший внутри своего личного космоса индивид не способен постичь сокровенное знание. Он весь во внешнем, в том числе он привязан к словам, проживающим в царстве эстетики.

Что значит "доктрина Ока"? Учение, доступное внешнему наблюдению. Разве наша эпоха - не эпоха глазений? Разве когда мы "странствуем" по странам и весям, нам не кажется, что мы что-то познаем, хотя на самом деле лишь глазеем, укрепляясь в опыте наполняться иллюзорностями. К способности познавать "ментальным сердцем" ведет долгий опыт.

И конечно в Начале никак не могло быть Слова, с которым мы имеем дело ежедневно, с какой буквы его ни пиши. Даже мы нынешние знаем, что подлинное понимание совершается в молчании. Истинная весть Будды не была выговорена, но была передана. Что уж говорить о толчке Начала, где был задан весь непостижимый Объем: сама Непостижимость.

Почему страсть к мышлению делает людей агрессивными? Потому что закрывает спокойное поле *созерцания того, что есть*, потому что отсекает нечто от целого и превращает в тотальное орудие действия, потому что из идеи, ради "идеи" убивать очень легко. Здесь прыжок сквозь нежную улыбку вещества. Страсть к мышлению, развивая идеологизм, парализует дух. Вот почему "человек, гордый своим интеллектом, напоминает осужденного, гордого просторной камерой",

и вот почему "деревенский дурачок столь удивительно близок к истине" (С. Вейль).

Европейцам пришла мысль, а затем пришло убеждение, что только "умные" имеют право на жизнь. Майя, индейцы, цыгане, русские - не умные, хотя последние изобрели паровоз, радио, космонавтику, телевизор, автомат Калашникова и т.д. "У них не было Фомы Аквинского и Гегеля". Да, у нас был протопоп Аввакум, Серафим Саровский и Николай Федоров. У нас была сердечная философия: десятки изумительных имён. А еще свидетельство: "всю тебя, земля родная, / в рабском виде царь небесный / исходил, благословляя". Нет, я вовсе не "клеюсь" к былым заслугам и святыням, а просто вспоминаю.

Именно умничанье, созидавая морок концептуализма (могучая паутиная сеть), отрезает нас от *искренности*. Это и есть первые запертые врата. Горе умникам! Они не увидят, ибо не видят, царствия Божьего, которое явно, ибо - в священстве созерцания, а не в клокозущем уме.

Искусство держаться природных форм красоты - великое наследие, утраченное человеком. Какой был избран путь? Проповедь главенства и величия рукотворных, изобретенных мозгом форм, что далее открыло дорогу к прямому искоренению всех естественно-внемозговых путей движения. Создав культ формально-логического мозга (путь бюрократизма и изобретательности) и культ мозговой ("брендовой", идеологического помола) красоты, человечество вырвало себя (с корнями) из Дао.

"Откуда, как разлад возник? / И отчего же в общем хоре / Душа не то поёт, что море, / И ропщет мыслящий тростник? / И от земли до крайних звезд / Всё безответен и поныне / Глас вопиющего в пустыне, / Души отчаянной протест?"

Да, душа протестует, чуя разлад "мыслящего тростника" с природой, с природным Богом. Не слишком ли замыслился тростник, рискуя напрочь утратить сердечный корень?

Когда я размышляю о бессмысленности современного говорения, то имею в виду утрату в нашем времени *искренности*. Имею в виду не то значение, которое это слово приобрело сегодня, а сам исконный фермент искренности, сам её исток и корень. Ту атмосферу, в которой

она только и осуществляет себя. Когда мы слушаем общение людей в телевизоре, то не можем не видеть, что они не искренни, что они играют роль, даже когда идет приватное интервью со слезами в голосе. Учитель играет роль учителя (в школе), мать играет роль матери etc. Мы рабы модных словечек, моды в разных ее жанрах, "трендов" и "форматов", "концепций". Мы живем в их проекциях. И потому мы начинаем день неискренне, продолжаем его в этих паутинах полусознания и завершаем неискренне. Но ведь можно пытаться жить иначе: в модусе священства каждой капли вещества. Возрождая утренний когда-то бывший естественным трепет прикосновений (рукой, взглядом, мыслечувством) к предметам и формам, к существам и растениям. Вполне понятно, о чем я здесь коряво-примитивно говорю. Речь идет об искреннем (истинном) человеке. А суть столь же проста, сколь и поразительна: если неискренний (неистинный) человек проповедует истинное учение, оно становится ложным. И наоборот. Так что дело не в словах, не в книгах, не в концепциях, а в *искренности*.

Иногда я задумываюсь: и тем не менее, почему книги "истинных людей" не насыщают нас нынешних. Вот человек прочитал Гиту. Казалось бы, какое событие!? Нет, зуд продолжается. Вот уже прочитан и Чжуан-цзы, и Лао-цзы, и великие сутры буддизма, вот уже и Упанишады пролистаны с карандашом в руке. И Ориген, и Палама, и Сведенборг, и Киркегор, и даже пятитомник Блаватской взгромоздился на полке. И что же? Искатель продолжает "искать" дальше. Он продолжает идти пустотным маршрутом. Почему?

Именно потому, что истинных учений не бывает.

В фильмах, романах, пьесах и т.д. должны жить и действовать люди, более умные, более глубокие и более благородные, чем я, читатель и зритель. В этом чара и назначение искусства. Наблюдения над страданиями и выборами этих людей дают громадный стимул людям, менее пробужденным к сознательной жизни. Иногда мне кажется, что всё остальное в искусстве - растление и ложь. Почему и как искусство заполонили низменные натуры? Кто их впустил?

"Свет и мрак в моей душе зависят не от чьей-то человеческой, властной и довлеющей силы, но единственно от Безымянного. Это и есть, если можно так выразиться, минимальный масштаб моей набожности..." - Р.М.Р.

День двадцать четвертый

В биографии Р.-М. Рильке (в ЖЗЛ) я пишу о том, что мой герой сам, своей внутренней силой стер свою личную историю и обрел единство с реальностью, то есть вышел за пределы литературной игры (за пределы того искусства, которое порвало с донным основанием универсума), став целостным существом, а мне люди из касты интеллектуалов пеняют на то, что я, мол, искусственно сдвинул Рильке в буддизм; ну и иные нелепости в том же роде, исходящие из уверенности, что выше культуры нет ничего и что поэт - это мастер словесности, порождаемый европейской "поэтической традицией". Для читателей такого рода и боги - всего лишь взвихренность фоном и синтагм, мифологический сор, шелуха от работы мозговой машины. Богов, мол, сочинили.

О чем мне подумалось сегодня (где это "сегодня"?) утром? Я давно обратил внимание на то, что всякое неироничное отношение к тому предмету, который называется "смысл жизни", современный "образованец" (то есть мой ближний), морща нос, называет "нелепым пафосом". И тем не менее, чтобы изменить свой мир, мы должны хотя бы чуточку преисполниться пафоса и изменить наше отношение к слову. Да, именно к слову. Например, мы должны задуматься о том, почему, когда мы обращаемся к кому-то, кого называем Богом, он молчит. Скорее всего, он предлагает вслушиваться в его Молчание. (И через это выходить на подступы к качественно новому состоянию).

Если мы пойдем по пути (а мы по нему идем) предположения, что мир в своей основе невероятно болтлив (а на это нас провоцирует неверный перевод речения из Евангелия от Иоанна "в Начале было Слово", хотя по-гречески это звучало: "в Начале был Логос"), тогда мы отказываем миру и вещам в их мистической (несказанной, если довериться интуиции гениев) правде и в сокровенном естестве. Но Логос как раз и есть то корневище и тот сок в корневище, которые питают каждую вещь невыбалтываемой влагой и огнем-пневмой. В каждой вещи пребывает его логос, частичка "мирового закона", "космического долга", пуповинная нить (извините за пафос!), антенна

смысла и "неизрекаемого" содержания, тем самым гарантирующего неискажение оно. Чем гарантирующего? Молчанием. Разве мы не знаем, чем чистое сознание отличается от грязного? Очищенностью от мыслей.

Человек - вещь среди вещей. В нем присутствовал изначальный логос. Но, вероятно, постепенно человек разменял его на слова, более того - на рационалистическую претенциозность. Даже поэты не заметили, как оказались внутри этой ловушки.

Последнее предупреждение людям прозвучало в "осевое время". "Красноречивый не добр; добрый не красноречив". "Красивые речи не правдивы; правдивые слова не блещут красотой". "Если вы слушали не только меня, но внимательно прислушивались к Логосу и, следовательно, стали по-слушными и являетесь таковыми, тогда есть вход в настоящее знание". И Лао-цзы, и Гераклит понимали/ощущали то же, что и Иоанн, услышавший из уст Христа древнюю истину о корне Логоса в каждой вещи, и этот корень и одновременно антенна соединяют чистую молчаливую бытийность (клетки организма пытаются ее хранить) с нашим космическим долгом как следованием мировому закону (индийская дхарма, китайское дао, русская правда). В том и заключалось "логосное" единство этики и бытия.

Вот почему невозможно ни научиться медитации, ни практиковать ее. Нельзя "заняться медитацией". Можно лишь вернуться к ней, "вспомнив" в себе ее. Вспомнив через слушание голоса Логоса.

Движение вперед - это регресс. Движение назад - вот истинный прогресс. Все великие учителя, мне известные, были "ретроградами". Почему мы не говорим об этом друг другу ежедневно? Почему мы думаем одно, а говорим всегда другое? Боимся пафоса? Снова я впал в пафос. Любопытно, а лесок вот этот: в пафосе он или нет? А автомашины на дорогах? А политики? А актеры? А богачи? А река, которую столетиями никто не видит? И что есть страсть? В чем ее исток?

Вспомним "во многом знании - много печали" Экклезиаста. Но ведь за этим не только многоопытность. Всякое "много" приводит к печали, и тоске, и даже к чему-то еще более безнадежному. Много женщин,

много друзей, много вещей, много денег... Всё это разрушительно. Всё это приводит к цинизму сравнений (вот почему, кстати, метафористика - отнюдь не безобидная вещь) и опустошает в смысле: оскверняет. Радость приносит только бедность. Только моно. Никаких букетов. Еще датский принц мистики протестовал против подписи в книге "вторая любовь Гёте". Любовь единственна, и если вторая, третья, то это не любовь, а что-то иное, извольте найти этому другое слово. Второе увлечение Гёте, третье увлечение... (Кстати, здесь он показал один из механизмов растления сознания посредством "расширения" смысла слова. Вот така, но мы ее назовем все тем же благородным словом, и отныне така и чистота не будут в сознании различаться).

Кто попустительствовал тому, что власть в стране захватили олигархи? Разве не мы, сами склонные к разврату и к нарушению всяческого долга? Кто из нас денно и ночью благоговет перед дхармой? Для кого слово "долг" высшее из слов? Если бы мы могли постичь (разумеется, на пределе отчаяния), что мы уже не люди, что мы постлюди (то есть нелюди, населяющие постмодерн), что нас уже подключили к системам машинного менталитета. Трансгуманизм в том именно, что отменил человека (отныне бог даже уже не биочеловек, не требуха "с похотями" как это было еще совсем недавно, а биоробот, так что, скажем, на какие-либо "права человека" ссылки давно уже абсурдны). Идет вторая стадия "армагеддона". (Первую мы с вами прошляпили, ее заметило ничтожное меньшинство "маргиналов").

Нас приучили материализовывать всё и вся. Идеалистов (и интровертов) среди нас мало. Что и бросает странный свет на всю изощренную поэтику и эстетику эпохи. Даже душа поэта пытается наполнить себя бесчисленностью материальных вещей, превращая в вещи даже дуновение ветерка в вечерней священной роще у дома или взгляд любимого человека.

Поэт-идеалист пишет красками по белому холсту своей души; вот почему абсолютная чистота холста так метафизически важна.

Как больно тем юным существам, чьи души сотканы из нежного доверия феноменальному. Как им больно, как жутко им наблюдать

вокруг орков, "наслаждающихся жизнью". Как больно не находить приюта душе, чьи телесные щупальца утонченны и нежны, а кожа брезглива. Лишь саньяса была бы им спасением или монастырь.

Люди не выносят искренности. Искренность другого существа для человека непереносима. Отчасти поэтому мир утонул вначале в половинной искренности, потом - в искренности в одну четверть, а потом во лжи: постоянной и беспробудной. Не замечаемой, дыхательной. Она сравнилась с дыхательной себя идеализацией, когда даже самые очевидные свои предательства ты легчайшими пассажами оговорок объясняешь себе, переводя стрелки на другого и на других.

Была бы для человека переносимой искренность человека-ангела? Ни в коем случае. Зрелище существа более благородного, чем мы, переносимо только для святого. Даже между равными есть какие-то фундаментальные препоны. Несовпадения контекстов, когда, скажем, благой порыв одного кажется другому высокомерием или наглостью или разнузданностью.

А если заглянуть поглубже? Утрачена некая таинственная основа для искренности. Утрата этой основы, возможно, и есть бездна "грехопадения".

Двадцать пятый день

В начале двадцатых годов века минувшего Шпенглер изящным стилем писал о "Гибели Европы", скорее всего имея в виду конец европейской истории прогресса. Мог ли он знать, что Запад настолько суицидален в своей приверженности к эстетике (в том числе к ментальной, к спекулятивно-словесной, музыкально-сценической), к телесной позитуре, изяществу поз, стоящих на громадной привычке к грабительской роскоши и комфорту, что ввергнет мир в новую мировую бойню, завершившуюся ядерной бомбардировкой мирных городов Востока. Шпенглер проинтерпретировал историю мира под углом зрения игры эстетических и витальных сил, понимая космогонию в основном интеллектуально-чувственно, как и подобает германцу. Иссякание энергии. Никакой вины. Круговороты сил. В том же начале

двадцатых годов другой германец, Альберт Швейцер, объяснил гибель Запада абсолютно иначе, под углом зрения громадной вины западного человечества и каждого отдельного европейца: культура обрушилась, ибо строилась и стояла без фундамента, на песке. Фундамент культуры, способной насыщать и исцелять душу человека, а не просто производить эстетические фейерверки во имя антропоморфного тщеславия, - этика в том именно смысле, в каком ее понимали десятки тысяч лет люди Востока, в частности индийцы. "Бхагавадгита" и Упанишады были настольными книгами автора книг о Христе, апостоле Павле, Бахе, монаха собственного, самого закрытого в мире и самого сурового ордена. Швейцер переформулировал основной постулат индийской Дхармы, ахимсу, назвав это благоговением перед волей-жизни в каждом, даже самом по видимости малом и ничтожном земном существе, которое по его убеждению обладает космической формой сознания, причастного единому в своем корне ощущению боли. (К которой на Руси добавляется феномен тоски).

Этика, говорит Швейцер, а не эстетика, показывая фундаментальную ошибку всего направления западного менталитета, воли и целей. Давайте покончим, говорил он, с подростковой демонстрацией друг другу "кипения" своих витальных сил и пубертатных страстей, с демонстрацией друг другу своих эстетических и чувственно-ментальных талантов, даров матушки-природы. Ведь в этом соревновательном фокусничестве нет никакой заслуги, нет никакой настоящей доблести, нет и не может быть подлинного самоуважения и постижения мотивов и задач твоего здесь пребывания.

Русь, стоявшая на своих собственных, восточных основаниях кротости, минус-креативности, была ввергнута в западный логотип Петром, великим эстетиком. Он впал в прелесть не только в том смысле, что возомнил о себе, но впал в очарованность самой сущностью западной культуры. Второй наш наиболее яркий западник, Петр Чаадаев, тоже был исключительно образцовым эстетиком. Можно даже сказать: карикатурным в этом смысле экземпляром. И с той поры все западники у нас были и есть исключительно эстеты. Как им потрафил почвенник Достоевский этой глупой фразой недалекого Карамазова "красота спасет мир". Да, красота спасает человеческий мир ежесекундно, но красота эта духовная: вливаемая в душу человека способность

чистого сознания, пустого, ничего не ищущего созерцания. Движущегося к трансценденции. Человек Востока дает возможность Богу посмотреть на мир посредством человеческих глаз. Мало это или много?

Мне нравится выражение "деревенский индуизм". Именно. Город - не то место, где может родиться естественная религиозная эмоция, исходящая из почвенной интуиции. (Сынов и дочерей Геи). "Городской индуизм" так же настораживает, как "городской буддизм".

Надо отдавать себе отчет, что когда мы говорим "великий мастер стиха" или "великий мастер звука", то пребываем в пространстве своих чувственных рецепторов. Дух не изливается такими сетями. Дух равнодушен ко всем этим техническим достижениям в области пафосных модуляций. Он являет себя в простом, элементарном, обычном. Зачастую он являет себя вопреки, а не благодаря.

В русской поэзии отсутствовало и отсутствует наслаждение интеллектуальностью. Разве это плохо?

Гениальные мозги, гениальные эстетика, гениальные артисты. А где же гениальные души? Да есть ли они вообще - просто души? Есть, но они вне гениальных экранов, вне гениальных отражателей. Есть божественный экран. Хотя разве искусство порой им не становится? Романы Толстого, стихи Ахматовой, фильмы Тарковского.

Человечество, стоящее перед гибельностью и гибелью и знающее об этом - разве это не драгоценный экзистенциальный момент? Огромный гуманитарный пласт человеческой истории ухает в бездну. Разве это не драгоценный момент для остановки инерционного движения тщеславных центров? Не момент для начала Переприсмотра?

Должны ли мы чем-то платить за право жить? Думаю, да. Запрет, налагаемый на что-то отцом, разве не закон для ребенка, если тот не демон, а спонтанно религиозное существо? Великие художники-индивидуалисты рождались почти всегда в измерении жертвоприношения. (Бетховен, Ван Гог, Толстой, Марсель Пруст, Дикинсон, Пессоа,

Тарковский etc. Часто казалось, что к этому жертвоприношению их принуждала и принудила сама судьба). И если в ряде случаев биографам этого не было видно, то это только значит, что оно не облеклось в "зримые миру" черты. Только жертва путями желаний и тайных жажд дает человеку тот трагический накал, ту "разницу потенциалов", с которой начинается великое ощущение сверхъестественности обыденного.

День двадцать шестой

Айтарея-упанишада сообщает о том, что у каждого человека есть два тела: свое собственное и родовое. Но есть еще и третье: тонкое, трансцендентальное. Следовательно, у каждого человека, а тем более у поэта и художника, помимо его собственной, индивидуально-наличной есть родовая сущность и сущность трансцендентальная. Беседа этих трех тел звучит в душе художника и поэта как колокольная беседа незримого храма.

Где существуют слова - внутри нас или вовне? Но как же то, что существует вовне, может нас чему-то научить?

Когда я брожу по некоторым городам Европы, выстроенным со сверхнапряженным чувством красоты, брошу с обескураживающим ощущением своего изумления перед тем, с каким тщанием и целеполагающей продуманностью один шедевр подогнан к другому, - мне становится ясно, точнее - во мне рождается подозрение, становящееся интуитивным чувством, что люди этих земель, жившие тогда и строившие это, по какому-то внезапному порыву потеряли чувство и ощущение добра и зла, верха и низа в сферах простых и ясных как утро и вечер, как поле и колос, как краюха хлеба и голод, как страх умереть от жажды.

Порой я ясно чувствую, что желание создавать прекрасные изделия (в любой сфере, особенно в общественно значимой) исходит, тайно или явно, из претенциозности или из гордыни. Хотя в юности я, разумеется, дыхательно молился красоте, полагая её Богом. Удивительным образом сущность этих городов полностью соответствует

сущности моего пубертатного отрочества и студенческой юности, очарованной артефактами цивилизации.

Настоящая красота, не завязанная на эстетику, вырастает словно бы сама по себе, потаённо, нечаянно, не являясь ни целью, ни смыслом, ни намерением. Бьющая на эффект, преднамеренная (спланированная, срежиссированная) красота есть коварнейшая форма зла. Её сущность, вне сомнения, демонична, и это самое малое, самое общее и самое предварительное, что можно о ней сказать. Это ловушка, поставленная чрезвычайно искусным и безжалостным охотником.

Я думаю, города, где, возможно, живут люди-ангелы, или просто святые люди, или просто просветленные (почему не допустить существование таких полисов), - абсолютно ничем не примечательны внешне, и ни один захожий человек не найдет там ни единой зацепки для всполоха эстетической эмоции, выбивающей восхищение. Да и не только святые или просветленные, а просто люди, обыкновеннейшие как Петруша Гринев, с не совращенным инстинктом реальности. Или, как говорят в православии, не впавшие в прелесть.

В каждом из пишущей братии (особенно стихами) столько достоинств и обаяний, что всегда будут сонмы поклонников. Обаяние накатанной веками эстетики неизбежно, и кто будет спорить. Но отчего же кому-либо не оказаться вне плена этих обаяний? Разве нам не известен феномен "другой красоты"? Даже в сфере сугубо антропологической бывает, что человек, объявленный обществом красавцем или красавицей, у кого-то вызывает отвращение. И кто более пронциателен? Неведомо. Особенно в нашу эпоху, когда едва ли найдется один на миллион, кто точно не спутает красоту души с изяществом черт и красивой речью.

Что такое "максимум смысла", "максимум содержания" на минимум объема текста? (Эзра Паунд о сути поэзии). Любой, наугад взятый фрагмент реальности максимално содержателен, но натиском взяты эту содержательность невозможно. Содержание реальности открывается только при минимуме притязаний, при тишайшем отходе, который наши предки называли не-деянием (то есть особой формой деяния, сплошь внутреннего), а не при "симфоническом" штурме. Любая симфония проигрывает в содержательности песне жалейки или старому народному напеву в один, два голоса. Содержательность не

принадлежит человеку. Человеку принадлежит только форма. Форма же слишком часто граничит с претензией, стягивая внимание на себя. В каком-то смысле соблазнительным моментом для русской поэзии стало явление Мандельштама, реально "сгустившего смыслы" вполне по новейшим для тех времен западным рецептам. Мандельштам работал в двух поэтиках сразу, однако повязанность тоской по мировой единой гиперкультуре была очевидна. Был ли он Пушкиным нового времени?

Кто же в ситуации или-или: Мандельштам или Заболоцкой? Мандельштам писал потаённо-интеллектуальным измерением своей души (гулом, исходящим из жара "всезнания"), а Заболоцкий народно-душевым измерением оной. Это грандиозное различие, которое давало Мандельштаму фору в плане изысканных эстетических модуляций, сдавливания многих смыслов в одну пластину. Имеют значение и различия национально-кармические, разный ритм и разные зовы крови. Разумеется, всё это на уровне музыки, где Мандельштам прибегал к "колдовству", а Заболоцкий - осознанно нет. Здесь корни двух миров.

Двадцать седьмой день

В своих цидулах он непременно выдавал что-нибудь решительное. Вот и на этот раз: "Если кто-то считает, что в России мало красоты, а в Европе ее много, тот просто олух и олухом останется. Если он считает, что в России мало культуры, а в Европе ее много, то он осел и ослом останется. Если он считает, что где-то есть свобода, а где-то ее нет, - он болван, которым и останется до скончания дней. Как говаривал Линь-цзы, "если вы любите священное и презираете обыденное, вы носитесь по волнам рождений и смертей". Почему так происходит? "Не замечая собственной головы, вы ищите другую голову, будучи не в силах остановиться"... Я ему ответил столь же внезапно: "Понятно, что этическая составляющая (будучи тайной основой всякого содержания человеческих жизненных форм) мешает полной свободе игры эстетических сил. Время от времени художники

распоясываются в этих играх до сущего опьянения, а иногда до дьяволиады, доводя свое искусство до филиграннейших па и экзотичнейших прихотей субъектности. Так возникают эпохи "подъема искусства", сигнализирующие о внутреннем распаде матрицы человека и хаосе в его внутреннем хозяйстве. Как, например, сегодня. Чтобы выздороветь, человеку приходится возвращаться из эстетического загула, из художественного пьянства в состояние естественного равновесия, в состояние между духовной трезвостью и духовным опьянением, то есть в этику мерцаний, где различия между эгосамостями снимаются, и на первый план выходит сама природа внутри человека, сам простор сознания в его целомудренном покое..." Пусть-ка почешет свой затылок живописца.

Почему мир соскользнул в торговлю вещами и телами? Потому что утратил связь с тонкими телами, с аурой вещей и прилип к силуэтам, к схемам и плоти вещей, предметов (пред-метов), к их функциям и к авантюрам своих владений ими? Чтобы прилипнуть к чувственной мякоти вещей, вполне всегда готовых, необходимо было забыть бытийное их измерение. Ибо невозможны два одновременных серьезных внимания. Корень вещей уходит в невыразимую истину, но никак не в красоту, сущность которой - балаган.

Есть "зов Бытия", "зов Бога". Он ищет нас.

Какими смыслами, каким содержанием может поэт наполнить строки своих стихов по воле своих прихотей? Содержание и смысл исчезновенны в мире рациональной интеллектуализации. Смысл мира, смысл жизни исходит исключительно из центра иррациональной креации.

Чеслав Милош был прав: мир не спасти, можно было спасти (да и то когда-то) лишь свою деревушку. Вот почему все старания, направленные на крупномасштабность, тщетны. В том числе старания художников "творить для всего мира". Это грубая ошибка. Творить ты можешь для двоих-троих близких тебе людей. Разность установок.

Подлюю сущность "нового человека" у Витольда Гомбровича Чеслав Милош выразил так: "Все взаимоотношения этой абсолютно одинокой монады сводятся к тому, чтобы *быть* за счет уменьшения бытия других". Кстати, этот фашистский закон ярче всего виден при взгляде

на наши творческие и властные элиты. Не участвуют в схватке только естественно-простые люди (то есть не воображающие себя сложными и умными и не завидующие таковым) да святые (тоже не ведающие о своей святости, впрочем всегда условной).

Величайшее благо, которое может сделать человек человеку (и этнос этносу), - не лезть ни в его дела, ни на его территорию, ни в его душу. Человеку (тем более этносу) не нужны ни ненависть, ни любовь других людей. Ему достаточно внерефлексивного, "допытного" уважения. А любовь он осуществит сам, не загроужая ею никого.

Интеллектуал (трактующий мир как рационально постижимую данность) склонен к позитивистскому рассматриванию: мир расположен вовне, так же как и Бог. Есть и прямо противоположное мнение. Но вероятнее всего, что Бог не вовне и не внутри, а в том третьем измерении, где дихотомия снята, ибо смехотворна.

О какой религиозности нашей интеллигенции можно говорить, если она еще со времен Чаадаева и Герцена (впрочем, гораздо раньше) вся сплошь европеизирована, то есть атеистична до корней. Это прекрасно ощущали и Достоевский, и Толстой и потому, не сговариваясь, видели надежду в лице православных русских мужиков и баб. На Западе и у нас над этим посмеялись. И напрасно. Когда бы наша интеллигенция (вкуче с аристократией) не сдала русского мужика интернациональному бандитскому сброду, история двадцатого века пошла бы совсем иначе.

И в сущности из-за чего была идеализация европеизма? Из-за форменной чепухи, из-за жалких ремков, из-за всё той же жвачки, джинсов, джаза и бордельных варьете, а на внешне-пропагандистском уровне: "прекрасные дороги, наука, искусства".

Лев Толстой: "Дороги - для чего, для ехать - куда и зачем?" А наука? А искусства?

Что вообще означает "полная откровенность"? А "полная искренность"? Важна ли она кому-то кроме самого субъекта? Но почему она абсолютно важна ему самому и достижима ли она, тем более если он знает, что будет идти и плыть в полнейшем одиночестве до самого конца эксперимента?

Двоедушие поляков вроде бы понятно. А наши элиты? Бегство из изнасилованной, разоренной, превращенной в гетто страны - вещь вполне естественная для безрелигиозного сознания. В этом смысле двоедушие - факт истории, а не намеренного предательства. Хотя кто когда кого предавал супротив собственной выгоды? С одной стороны отвращение и страх удушья, с другой - острое нежелание стать приживалом.

Все бегства с родины неизменно оправдывались тем, что это будто бы бегство в поисках духовной родины. Но что есть дух? Разве он тождествен культуре, её плотности или "изысканности"?

Непостижимо, как поэт может ратовать за устранение государственных границ и за уничтожение этносов посредством смешения их в единую кашу в одном громадном мировом котле. Ведь поэт - это тот, кто тончайше чувствует оттенки особенного, своеобразного, неповторимо хрупкого, постигаемого с очень близкого расстояния (иногда напротив: с бесконечно удаленного, космического, из предистории), когда око в око, когда речка уникальна, ибо ты знаешь ее с детства во всех подробностях. Когда же ты видишь пейзажи с расстояний их созерцания в эстетических рамках, все они сливаются в череду единообразных картинок или символов. Душа пейзажа улетает при первой же эстетической его оценке. В любимой женщине любят ту красоту, которую никто не увидит извне.

Я думаю, поэзия по своей сути есть детище земли именно в таком вот подробном, "с близкого расстояния" душевном общении, а не результат неких "духовных практик". Дух как экспликация асфальтовой культуры - пародия на дух, нечто неживое, нечто измышляемое.

Тоска по культуре, по ее бесконечному утончению и одновременно слоистой мощи, влечение к ней, страстное и неотвратимое, я думаю, есть эрзац, заполняющий зияющую рану в душе человека. Из нее было вырвано некое истинное измерение духа, дававшее полную гармонию, где никакого противостояния естественно-природному не существовало.

Человек, обретший Покой, то есть Бога, не сдвинется с места. В вечных странствиях, в вечной беготне те, кто обречены на беспокойство; они

нервозны, ибо живут вне тени Древа жизни. Они бессознательно ищут, но их поиск ложен, ибо направлен вовне. Они ищут в обычаях чужих стран, в книгах: в их безсчетии. Они бегут и бегут. Именно от Него, от великого Покоя. Св. Августин: "Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе".

От того, как мы смотрим на вещи, зависят сами вещи. Взгляд негодяя делает мерзкими и рощу, и озеро. Взгляд духовного существа делает убогий пейзаж райским. В этом тайна и природы, и первореальности.

Он стеснялся себя всякого: и такого как есть сейчас, и такого, каким ему хотелось в данный момент быть; любое положение, в котором он реально находился, казалось ему в высшей степени уязвимым. Хотя он и не понимал, чего он должен стыдиться и чего конкретно он в данный момент стыдится...

Зависть к этой или другой судьбе отвлекает тебя от твоей судьбы, которая одна только и обладает вещей и насущной силой, способной противостоять призракам сюжетно выстроенных, как отсруганных, судеб чужих. Ведь и разобраться в этих судьбах только и возможно, исходя из кода тех лабиринтных блужданий, которые ты должен в полной мере принять и претворить. Твоя судьба безфабульна, ибо она обладает множеством (бесконечным множеством!) фабул сразу. И сюжет твоей жизни - это разомкнутая система касаний, замыканий и новых несоприкосновенностей, это могучий хаос неосуществленностей, жаждущих глубочайшего и абсолютного удовлетворения. А ты предлагаешь им фабулу - пошлую игрушечную имитацию удовлетворенности, убогую попытку самообмана, подмену движущегося ручья статикой манекена...

День двадцать восьмой

Пребывание души на Земле подпольно, незаконно, контрабандно. Хотя, возможно, только ради нее и существует Космос. Космос роскошеством и многообилием чувственных сопряжений, пирамидами эстетики отвлекает внимание алчных и глупых от мистической алхимии, где микроны значат больше, чем сонмы технологических

галактик. Даже в лучших земных стихах, романах и симфониях значимы не пышные фасады орнаментов, не строительные леса интеллектуалистики и эстетики. Люди клюют на отвлекающие маневры, аплодируя демоническому. Набоков в финале своих романов стоит растерянный и облитый холодным дождем. "А что я хотел сказать?" "А есть ли что-то, что можно сказать, кроме филологических фехтований Кончеева и Годунова-Чердынцева, где они пытаются быть умнейшими за счет дара присутствия при празднествах языка?"

Малларме хотел сказать, что стихи состоят из чувственности слов, из словесной эротики. Подобно тому, как из чувственности красок, из их эротики возникают картины. Это конечно так. По факту. По факту численной доминанты. Но не по факту той поэзии и той живописи, что трогает меня. Что мне до общих мнений? До пресловутой "корректности". Ведь я живу наедине с конкретным существом. Поэзия и живопись обращены в одном случае - "к современникам", к "общественному мнению", но в другом - к страннику. Чувственность слов, чувственность красок - да. Но бог мой, как далеки бывают друг от друга слои этой чувственности. Шершавое карканье вороны - разве не чувственно? А печаль старого сарая? А пронзающий апокалипсис капли? А лодка с пробитым дном у весеннего берега? А обезумевший от пронзившей его догадки старик, застрявший у поленницы? А горе мира, падающее на кого-то с грохотом разбившегося на куски колокола? А тут еще щелканье пастушьего кнута и мелодия полой дудочки из камышиных зарослей. Как это всё скучно вне зова чистого эроса. Скучно ужасом бессмыслицы.

Как снисходителен, почти нежен был Рильке, определяя корень неудач человека и его вечной хромоты. Касснер, имевший с поэтом долгие задушевные, не для печати, беседы: "Человек был для Рильке чем-то, что остановилось между мухой (или пчелой, или пусть даже птицей со всем её счастьем) и ангелом. Вот почему человек "приблизителен", неточен". Какое отсутствие раздраженности или нападок или отвращения! Не грехопадение, не бездна вины и соответственно тупик и отчаяние, а остановка, по неизвестной причине. Человек в силу этой остановки в развитии стал шаток, колебателен, ни-в-чем-не-уверен, у него потеряна целеполагающая энергия. Он перестал двигаться

по направлению к ангелу в себе. И теперь его швыряет в громадном диапазоне. Человек "приблизителен", он никогда не есть кто-то вполне конкретный или что-то вполне конкретное, четко очерченное. Человек стал аморфен, утратил движение по направлению к своей вершине: то есть к чистоте отказа от хаотического своеволия. Ибо святость это не атрофия желаний, а пространство кроткого могущества в понимании и в действии. Ангел у Рильке живет "одновременно" в трех временных объемах: прошлое для него так же бытийно-в-сейчас, как и будущее. Тайна Рильке в том, что он ощущал ангельские возможности у человека, однако ничуть их не преувеличивал. Ибо большая часть людей - это мухи или пчелы, в лучшем случае птицы. Но беда не в этом, а в том, что муха внезапно начинает самоощущать себя взбесившимся быком, а потом кротом или свиньей. Это субстанция, непредсказуемая для самой себя. В этом трагизм и нескончаемая драма. С человеком нельзя иметь дело, - так может сказать извне любое существо. Поэтому Рильке говорил, что люди не столько порочны, сколько испорчены и попорчены трещинами, царапинами, выбоинами и сколками. Все эти изъяны оптической сферы надо лечить.

Если по искренности, то человеку следовало бы вести счет не "новым впечатлениям", а своим предательствам. Так бы он много быстрее дошел до самой сути.

Мудрый возвращает чистоту восприятия и избегает суждений.

Чем отвратительнее будет этот мир, чем несноснее будут условия здесь проживания, тем скорее и мощнее возникнет у сравнительно многих желание "достичь другого берега", уйти из сансары в мир без рождений-и-смертей. Чем соблазнительнее (комфортабельней, "веселее", интереснее и т.д.) условия внешней человеческой тусовки, тем дальше выходит человек (в силу элементарного соблазна) в плоскость внешнего из своего внутреннего универсума, из центра своего изначального сердца, которое и является подлинным центром универсума. Без пинка под зад большая часть нас не стронется с места, всё будет цепляться за желания, испускаемые телом и его слугами - эмоциями. Ведь замутнены не столько даже наш ум и сознание, сколько именно ментальное сердце, вывернувшее наизнанку подлинный образ универсума. В любом случае, хотим мы этого или

не хотим, но нам придется заново научиться жить во внутреннем космосе и там обретать свободу. В истории таких эпизодов немало. В конце концов внешняя свобода всегда иллюзия. Прорвавшиеся в нем это моментально постигали. Тем более, что провидение ставит каждого из нас именно "на своё место".

Есть вселенная дословного, несказанного, непроявленного, то что можно назвать миром плеромы. То, что мы оттуда изгнаны, вовсе не значит, что мы должны забыть о его существовании. Напротив. Ужасно как раз наше двухсотпроцентное внимание к проявленному и полное невнимание к непроявленному, к великой Целости. Это забвение Истока сокрушительно действует на всю психоритмику нашей жизни. (Восточное сознание отнюдь не случайно крайне внимательно к частице "не": недеяние, "истинный будда есть не-будда" и т.д., и т.д.). Все наши критерии и ориентиры оказываются смещены от центра к периферии самого алчного и сиюминутного прагматизма.

В этом главная причина того, что все критерии нашего нынешнего искусства ложны.

Настоящего поэта, композитора, настоящий пейзаж, настоящего человека аплодисменты оскорбляют. В этом смысле я вполне понимаю Глена Гульда и вполне на его стороне, когда он выражает свою решительную негацию по отношению к зрительному залу, где собираются ныне люди, отнюдь не вслушивающиеся в то, ради чего играет настоящий музыкант-поэт.

Двадцать девятый день

Катастрофа всеземной цивилизации созрела столь универсально и неотвратимо, что изъян должен лежать в какой-то весьма и весьма корневой её сути, в чем-то столь для нее сладком и будто бы идущем от Бога, что никому в голову не приходило увидеть в этом движитель Погибели. И этим корневым движителем, вполне могла оказаться филология в качестве обожествления словесности. И самые искусные языковые манипуляторы стали называться слугами Божьими. А если

не называться, то почитаться таковыми. И символом Вавилона стала Вавилонская библиотека, громадное скопище текстов, хранителей ложного знания.

И все же что же именно привело к столь катастрофической лжи? Например, к катастрофической лжи трансгуманизма, убеждающего элиты в наличии на земле человеческого хлама, непроизводительного и некреативного, способного лишь к потреблению? И вот эту якобы паразитическую громадную массу биотел предложено ликвидировать, как-нибудь изящно и незаметно. Какова история возникновения этой новой вариации сатанической идеи?

На этом пути нельзя не натолкнуться на такой удивительный факт: наши интеллектуальные и творческие элиты, уже более ста лет вбрасывают в общество концепцию своего безусловного, чуть ли не генетического превосходства над обычными людьми. Смысл истории и всего эволюционного процесса они видели и видят в порождении гениев в науке и искусстве, а также артистов экстра класса. Соответственно, смысл всех энергетических, интеллектуальных и художественных усилий человечества - в порождении такого рода "отборных" личностей, которым должны создаваться идеальные условия и даваться льготы.

Массированное давление этих идей я называю роковым грехом творческой элиты и всех интеллектуальных элит без исключения (и сегодняшних, разумеется, в высочайшей степени). Ибо они не только не увидели и не видят основного порока эпохи гуманизма, но возвели его чудовищный дефект в "перл творенья", созидавая по существу расовую теорию и атмосферу под эту теорию. Сущность гениальности (особенно в нашу переломно-хрупкую эпоху всеобщего полуобморочного зависания) должна была бы, на мой взгляд, пониматься смиренно однозначно - как безусловная и неуклонная воля к святости, к той святости, к которой нас побуждает незавершенная святость природы. Только такое мировоззрение могло бы нас спасти, вывести культуру и цивилизацию из ослепления и оглупления. Достоинство человека сегодняшней "элитарный" homo видит в эстетических талантах "личности" и в виртуозности того маленького ума, который есть машинка интеллекта. В то время как любое неомраченное существо видит достоинство человека в совершенно ином.

Чутко и тонко ощущала эту проблему Симона Вейль, поднимая своего рода бунт (светящийся красотой) против талантливых людей, объявляющих себя гениями, равно и против всех, кто славит таланты, именуя их гениальностью. Она очищает понятие гения от дрянной гуманистической шелухи. Гений ищет святости (её новой формы согласно условиям времени) как новой формы истины и правды. Соответственно, "священное - это далеко не личность; это напротив, в человеческом существе как раз то, что безлично. Всё, что безлично в человеке, священно - только оно". "Ибо личность "преуспеивает" только тогда, когда её раздувает социальный престиж". Но единственно реальное, истина (она же правда) приходит с неба.

Симона вводит парадоксальный образ дурачка, чтобы всем было внятна её мысль. "Деревенский дурачок, дурачок в буквальном смысле слова, реально любящий истину, хотя бы он не издавал ничего кроме лепета, своей мыслью бесконечно выше Аристотеля. Он бесконечно ближе к Платону, чем был когда-либо Аристотель..." (Перевод П.Епифанова). И далее столь же разительно смелое, ибо чистое: "Надо ободрять этих дурачков, этих людей без таланта, людей с дарованием средним или чуть выше среднего, которые - гениальны. Не надо бояться приучить их к гордости. Любовь к истине всегда имеет спутником смирение. Настоящая гениальность есть не что иное, как сверхъестественная добродетель смирения в области мысли". Так она обращается к интеллектуалам и к сплошной интеллектуалистичности эпохи. Истина есть нечто целостное, выходящее за пределы личности и самости. Истина существует только в паре с правдой. Истина не может быть не правдивой, не в абсолюте душевной чистоты и искренности. Истина в человеке (и к человеку) не от человека, а свыше. И всяческое кипение мозга и мозгов, равно и воображения не имеет никакого отношения к истине. Идите учиться к дурачку, господа курносо-заносчивые. "Вместо того чтобы поощрять расцвет талантов, как призвали в 1789 году, нужно лелеять и согревать нежным уважением рост гениальности; ибо только поистине чистые герои, святые и гении могут быть подмогой несчастным".

Интеллект сегодня по-прежнему служит негодяям. Истина по-прежнему с несчастными. На чьей же вы стороне, господа поэты, романисты, сценаристы, режиссеры, музыканты, культур-философы и все менеджеры-от-культуры? Большинству из вас надо бы заткнуться, а вы лезете в гении, отталкивая истинных гениев, чья весть

с неба. С. Вейль была верна всю жизнь этой своей интуиции. Она писала об этом в четырнадцать лет ("любое существо, даже если оно вовсе лишено природных способностей, вступит в это предназначенное для гения царство правды, коль скоро оно взыскует только правды") и ярко выплеснула в своей последней статье "Личность и священное".

К трансгуманизму всё это имеет отношение еще и в другом важнейшем моменте. Мы еще раз видим вдруг абсолютную ложность деления людей на творческих ("креативных") и нетворческий балласт. Ценность "деревенских дурачков" для вдруг прозревших неслыханно возрастает, они оказываются гарантами истины, хранителями небесных эталонов. И это важнейшее онтологическое открытие для всех бесчисленных "элитных" придурков, не ведающих ни о концах, ни о началах, ни о земном, ни о небесном. В реальном, внеконцептуальном мире, в мире открытых веяний и просторов, где ясно видно во все концы, обнаруживается удивительная сбалансированность свыше всех существ, как человеческих, так и нечеловеческих. И всякое принятие концептуального решения об уничтожении (или угнетении) тех или иных видов и популяций грешит неопишуемой глупостью. Ибо истина/ правда - с неба, а на земле мы только её прочитываем. И смирение, равно послушание истине неба является высшей формой гениальности, через кого бы она ни являлась: через Иоганна Баха или через убогого пастуха в забытых людьми долинах. Забытых людьми, но не Богом. Вот еще почему наше внимание к бедному и откровенно неудачливому, к живущему на обочине, к кажущемуся заурядным и не отмеченным талантами существу должно оставаться ничуть не менее смиренно сбалансированным, чем внимание к засветившимся на "празднике жизни" эстетическим животным.

Идея святости двадцатый век не волновала совершенно. Если прежде две точки зрения на смысл "исторического процесса" еще боролись (в Константине Леонтьеве, например), то Ницше уже полностью освободил дух времени от дихотомичности. XX век и последующий - бандитский век, где художники, как правило, обслуживают вкусы бандитов (являющих нескончаемый эрзац элит), где соответственно - абсолютная ставка на талант и "гениальность", на их "бесцельную игру". (Бесцельную, но не бескорыстную - замечу я). Тем более

пьянящую, если видеть в этом смысл истории и самой экзистенции. Вот почему художественность новейшего времени гнилостная. Художественность 19 века России включала в себя духовный поиск как имманентный и само собой разумеющийся даже не момент, а пласт, фундамент. Идеи самосовершенствования были естественными для каждой аристократически сориентированной личности. (Не обязательно было быть аристократом крови, достаточно было быть аристократом по душевной зрелости: тот же деревенский дурачок Симоны Вейль был им). Романы писали князья, хозяева поместий, или равные им по духу одиночки-отщепенцы, в новейшее время их пишут педерасты и светские львицы, авантюристы и проститутки, официанты и деклассированные инородцы (если не по крови, то по духу).

Что есть лучшее в искусстве девятнадцатого века, что есть зерно, скажем, в его музыке? Жалоба на истаиванье последних сил в человеческой матрице (матрица - с чего "печатаются" человеческие экземпляры и роды). Жалоба на экзистенциальные тупики, подзрение, что есть святая страна, святая жизнь (вспомнился гёльдерлиновский Гиперион, плачущий о древней Греции) за пределами нашего социумоверчения, но пути туда перекрыты, хотя сердце в лучшие свои минуты, в минуты душевной силы, туда устремлено. В двадцатом веке этой жалобы почти уже не слышно. Здесь уже "братва" играет джаз, жрёт и гогочет. Здесь уже сплошь пируют, ибо работать - запаadlo. (Первое, что мне объясняли "менеджеры-психологи среднего класса" в начале 90-х: чтобы разбогатеть, ты должен вырвать из себя установку на работу, на труд). На самоограничение способны единицы. Остальные пропивают каждый свой "талант".

В девятнадцатом веке миром еще управляли цари, в новое время - лишь бандиты и холуи. Выбрали. Когда художественные элиты мира на срезе веков окончательно приняли гуманистический тезис, что смысл и цель исторического процесса - изготовление талантов и гениев, религия была обречена (имену в виду даже не обрядовые институции, а религию как музыку, с которой человек рождается), равно и уровень искусства. Иерархи еще могли ограничивать и урезонивать царей, бандитов у власти урезонивать было бы и смешно, и опасно. Если смысл жизни не в движении (пусть самом маленьком) по направлению к святости, "тогда - всё дозволено". Гуляй, братва!

Вот почему я и говорю, что на наших интеллектуальных и особенно художественных элитах - великий грех еще и в том смысле, что они поставили под сомнение смысл жизни всех остальных людей - не талантливых, не гениальных и даже не "пассионарных". Так они породили мутную и еще не оформленную в понятия энергетику новых форм фашизма. Гиперфашизма.

Эпоха поэзии кончилась. Поэзия стала невозможна, так как закончилась в человеке душа. Это как закончился бензин в моторе, а купить нигде, т.к. у всех закончился, а недра вычерпаны. Это как выкачали всю воду в колодце, а родники в нем забились грязью и камнями. Это как закончилась песня, а новую сочинить некому: все оглохли от того, что поселились на военном полигоне. Что же это за эпоха для нас, еще вроде бы полуживых на Земле? Эпоха поминок по душе. Душу похоронили. Поэзии остается помянуть душу. В этом сегодня её предмет. Мы на поминках.

Но, возможно, смерть души это не столько чья-то вина, сколько естественный итог её жизни? И тогда мы можем сказать более философски спокойно: завершилась история человеческой души. У души есть своя история, и вот она закончилась. Как история любви с ее зарождением, кульминациями, страданиями, взлетами и гибелью. Подводятся и подведены итоги. А подведены ли? Кажется нет, поскольку большинство не заметило смерти своей души и продолжают считать себя поэтами-с-неумершей-душой. Но душа-то умерла, и поэт держит на руках мертвого ребенка.

Душа умирала параллельно забвению истины. Истина проста, ясна и всем была известна, но она никого не интересовала. Человек интересовался и интересуется заблуждениями. (Историями блужданий во лжи). Человек любопытен, и заблуждения во всех сферах неотвратимо его влекут, и он всегда и везде лезет именно в заблуждения, даже и не пытаясь мотивировать это копание в экскрементах. Такова судьба проекта "прогресс". Вот почему с самого начала у этого проекта не было шанса на выход к истине: человек вышел в путь из точки истины, из простоты и прозрачной ясности. Все аристократические линии ментального опыта человека были либо заброшены, либо извращены. И сфера искусства, например, неуклонно наполнялась всё более грязными типами души и потому всё более

изошренными технологически.

В эпоху уже активного умирания души жизнь большинству молодых людей с неизбежностью открывалась как зеленая улица соблазна на странствования в бесконечном лабиринте психических, философских и общементальных девиаций и омраченностей. Других моделей жизнь уже не давала. И весь пыл своей естественной чистоты и благородства молодой человек отдавал этой могучей машине с ледяным нутром. Пока она не превращала его в клоаку чувств и мнений. В куклу на палубе посреди разъяренного океана.

День тридцатый

Целых два дня провел с М., батюшкой одного из наших храмов. Когда-то он был политехником, тонким и улыбчивым человеком, даже чуть застенчивым, хотя и игравшим в студенческом театре. Потом одно время стал ездить ко мне в деревню с вопросами, будто я ему и сократ и платон (в чем он не был одинок в те годы всеобщей растерянности). И вот он уже давно важная птица, огрузнел, растолстел, самодостаточен сполна. И с чем он приехал на этот раз? Ну конечно с кипой стихов и даже с переводами из какого-то француза. Он пишет и переводит неостановимо уже много лет, проверяя таким образом моё смирение. К его чести можно сказать то, что стихи его абсолютно мне не понятны, чего я не скрываю; в них нет ни малейшего для меня смысла: изошренное, кажущееся даже нарочитым косноязычие, но и без наклона в музыкальность, в итоге его элегии неприятно тебя скребут; ничего похожего на массаж. Если это и художественность, то иная. Вот тебе и простак. Хотя не исключаю, что здесь слоистость православного герметизма. Сколько батюшек сегодня пишут абсолютно невразумительные стихи, впрочем, нередко загроможденные всезнайским самолюбованием под видом мистических наитий. Словесность становится непроходимой тайгой. Или штангой, под которую ты пролазишь как муравей, делая вид, что толкнул её. Впрочем, я не завожу с батюшкой разговора на сакраментальную тему: а зачем это ему; чую, что всё это ему почти физиологически нужно. Да, ментально-физиологически. Тупик ли здесь, если сам Флоренский трепетно ценил одно время смутные прозо-поэзы Белого. Нам нужна точка, с которой вдруг понимается тщетность.

Да, это лишь деталь, придавленность свою мало кто замечает, легче заметить, что слова забавляются человеком, играют его психикой, словесная чара (батюшка работает на противочаре!) становится самостоятельным существом. (Семен Франк изумлялся, каким образом утонченность и благородство русской дореволюционной интеллигенции могло внезапно взбрыкнуть в революционизм, в жадную жажду крови и разрушений. И в самом деле, как могло случиться, скажу уже от себя, что "тонкий интеллигент" Борис Пастернак стал восславлять бесчестного лейтенанта Шмидта, нарушившего присягу, преклоняться перед абсолютным циником и пустословом Лениным, бандитом Сталиным и словесным каскадёром Маяковским, обаятельным шутом с нарисованным кровавым топором в руках?) Филология стала отдельным эгрегором со своей волей, эгрегором, питающимся человеческой кровью.

Да, страсть к словам не невинна. Да, вышли к разнужданности филологии, но что побудило к этому прорыву в словесный вертеп? Почему очарование молчания исчезло? Ведь поэт-от-бога очень тихо пробирается к своим корням, он движется по утайным тропинкам, по садам и огородам, а не по базарным площадям и форумам, не по публичности эксгибиционизма.

Случай Пастернака многое объясняет. Что его так неслыханно расковало? "Охранную грамоту" 1930 года он завершает неотправленным письмом к божеству Рильке. Здесь, как и в реальном (1926 года) письме к поэту, Пастернак почти экзотически объясняет мистическое воздействие на себя Ленинского переворота, называя его революцией, и это слово всю жизнь звучало для Пастернака как некий пропуск в страну поэзии. Внимательно перечитываю этот пассаж из "Послесловья": "Едва ли сумел я как следует рассказать Вам о тех вечно первых днях всех революций, когда Демулены вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух. Я был им свидетель. Действительность, как побочная дочь, выбежала полуодетой из затвора и законной истории противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную. Я видел лето на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции небывалого и неуловимого". Здесь безупречно высказана суть. Революция обнажила само основание человека, выбив из-под

него исторические котурны и какие-либо социальные правила. Машинерия порядка, в которой сонно и призрачно катилась жизнь Бориса Леонидовича, сконструированная для него кем-то анонимным и неуловимым, где все пазы на волю и на воздух были заткнуты книгами важных профессоров, внезапно рухнула, и обнажилась реальность хаоса и безграничного воздуха, грязи и почвы. Это было подобно сатори (монах нес ведро с водой, дно вылетело, вода пролилась: монах пробудился) и всякому иному пробуждению сознания, прежде запертого матрицами. Восторг детонировал почти такой, какой я испытал в раннем детстве, когда однажды проснулся и увидел плавающую по квартире мебель: ночью началось большое наводнение. Природный катаклизм обнажил изначальные основы человеческой экзистенции. Так, возможно, родился в Пастернаке поэт. В сущности за эти пропитанные кровью и гибельностью основы человеческой свободы Пастернак и держался в своей душе, как за трагический пропуск в новую свою профессию. Думаю, такое возможно. (А что кроме гипотез есть у нас? Не "факты" же).

Он пережил "остановку мира": остановку инерционности, когда у кого-то вдруг происходит видение действительности такой, какова она вне правил слишком человеческого "порядка". Выбежавшая на улицу полуодетая девочка-бесприданница, ей всё любопытно, она готова отдаться каждому. На этом профанном модусе "пробуждения" про-изросла советская поэзия, называющая себя позднее русской. Но разве она не сбежала из дома? К Демуленам. Да, когда дыхание становится профанным, когда ты родился не поэтом, нужны опрокинутые столы и тосты за воздух. Но почему нужно убивать десятки миллионов людей, чтобы только доказать себе, что акт дыхания есть чистое блаженство?

Внутренне питаюсь "революционным очищением", Пастернак, с одной стороны, держал в уме и в душе образ "остановки мира", вдруг давшей ему полную ясность своего биологического Присутствия (единственное реальное содержание его романа о Живаго), а с другой стороны, это вновь и вновь отчуждало его от того феномена "русского человека", который был эталонным существом для Рильке, существом, своей сутью родственным феномену истинного художника. "Примите во внимание еще и то, - писал он одному из своих друзей с Капри, - что я и художника в качестве человека послушания, в качестве

человека претерпевающего, настроенного на медленное саморазвитие, тоже никогда и ни при каких обстоятельствах не могу себе вообразить среди участников какого-либо <политического> переворота..."

Когда-то рабы не имели права речи, и это было мудро. Свобода слова стала водородной бомбой глобального значения. С этого момента "всё смешалось в доме Облонских". Уже никакая речь, никакой её сегмент не имел священного значения. Всякая священность исчезла из мира людей.

Следующий глобальный шаг по пути уничтожения сакрального человеческого гумуса - принцип Вавилона: разрешение, а потом и прославление смешения рас, наций и этносов на одном общественном поле, в пределах единого ландшафта. Все ландшафты утратили свою намоленность и свою потаенную гармонию. Понятия дома и родины опустели, став фиктивными. Боги ушли. Боги целомудренны, малейшая прядка цинизма с нашей стороны делает богов невидимыми и неосязаемыми. А вне почвы, в море словесности человек сходит с ума. С природного.

С момента всеобщего дозволения себе говорить о чем угодно (болтать) начинается блуд: говорение обо всем в третьем лице. Когда-то, когда человек обладал достоинством целомудренного существа, он обращался к человеку напрямую, глаза в глаза: ты. Равно и к Высшей Силе: ощущение Её означало прямой с Нею (трансцендентальный) разговор, молитву с глазу на глаз. Чувство реальности полностью соответствовало речевому действию. Но вот "рабы получили свободу слова" и стали обо всем говорить в третьем лице, и о Боге тоже: судить-рядить, рассуждать, обсуждать. Бог стал не "ты", а "он". Это и было убийством реальности. Цинизм вошел в сознание человека, оправдываемый логикой.

О том, кого любишь, о том, перед чем благоговеешь, язык не повернется сказать кому-то другому: он, она, оно. То было бы почти непереносимым отчуждением и уж точно предательством. Священное не обсуждается, ибо оно в эпицентре души.

Человеческое в человеке давно уже человеком не управляет. Человеком управляет словесное и словесно-концептуальное, до невероятия раздразнившее фантазийность всех форм жадности.

Непримение Руси т.н. интеллигентами идет, я думаю, из того, что на Руси уважаем не ум, а что-то другое. Русский охотно признаёт себя глупцом. Потому что ум - в сердце, как сказал мне сегодня один русский автомеханик лет семидесяти (нет у него ни диплома, ни аттестата), неплохо понимающий чань, о чем мы с ним и беседовали тихо в сквере два часа подряд. "Человек книги" (уровня Бродского) искренне считает ум универсальным критерием. "Бог с Америкой" - как ежедневно вещают американцы. У русского никогда язык не повернется сказать "Бог с Россией". Он просто-напросто инстинктивно чувствует, что внутренняя Русь, почти угасший атман матушки Руси - святость, основа которой в признании себя никем и ничем. Святой наименьшего о себе мнения. И тот, кто говорит "со мной Бог", не подозревает, что с ним велиар. Как только исконное стремление к лапотности в низовом народе исчезнет или испарится - Русь кончится, возникнет 51-й штат Америки, о чем и мечтает уже сто лет "элита", абсолютно не русская с первых дней захвата (вторжения) 17 года. Основы революционного пиитического говорения Маяковского и Пастернака - явно внеациональные. Как говорил на Капри в 1906 году Горькому бог Пастернака - Рильке, "революционер - антипод русскому человеку". Самой его сущности. Да и какой русский поедет учиться философии, извините меня, в Марбург к профессору Когену? Это называется из огня да в полымя: то Коген, то Маяковский. Некое кружение в мороке, враждебном русскому корневищу. Была ли то проблема только крови?..

У Бродского (и у поэтов, типологически ему родственных) нет ощущения иллюзорности своего "я", с чего, собственно, и начинается истинный поэт.

Бродский верно определил себя и поэтов своей линии как наркотически зависящих от языка. Но хвастаться здесь, я полагаю, нечем. "Биография писателя - в покрое его языка". Разве это не ужасное самообвинение? Мне скажут: но ведь вместе с Бродским - девять десятых всей современной литературы... То-то и оно.

Язык - наименьшее сущее в человеке. Кровь более сильна. Языки можно менять и приобретать. Сменить кровь нельзя. (Хотя можно и преодолевать посредством духа). Но наисильнейшее сущее - дух. Язык - плоть, кровь - душа (точнее, чувственность души), дух - вне определенний, ибо пневма, эфирное дыхание. То есть вполне допустимо сказать, что русский поэт вовсе не обязательно пишет по-русски. И наоборот. Точно так же можно предположить, что существует один-единственный истинный поэт, в ходе истории использующий "передачу вести" разными языками.

Пример воли (соблазна) крови - Цветаева с совсем небольшой долей немецкости в крови: "Я вовсе не русский поэт..." "Роковая ошибка - моё рождение в России..." "Я не могу этой вечной совести..., этой славянской немоты, славянской косности". Или еще резче: "Что мне дало славянство? - Право его презирать. (Раз - моё!)" Презирать славянство в себе. Немота? Но отрешенность и делает поэта тем отшельником, тем бесконечно одиноким, кому является Слово. Истинный поэт молчит. Немота - суть ли и признак ли Руси? Тут впору вспомнить Тютчева: "Не поймет и не заметит/ Гордый взор иноплеменный/ Что сквозит и тайно светит/ В наготу твоей смиренной..." Ведь и у природы есть свой великий язык, хотя нам кажется, что она молчит. Мы утратили языки, которыми владели, будучи внутри Цельности. Мы ушли в сугубо человеческие языки, самовосхитившись. Цветаева не ощущала исихастской благодати в русском гено типе.

Отвергнутые влюбленные (не просто влюбленные, но любящие) у Рильке "бросаются вослед исчезающему силуэту, но с первых же шагов обгоняют его и оказываются перед Богом". Отвергнутый обществом человек имеет шанс приблизиться к Богу. Отвергнутый языком и речью, отвергнутый филологией человек (еще лучше: отвергнувший) имеет шанс приблизиться к истине недеянья - к таинственной убогости безмолвия: к цельности и целостности.

Чем дальше от нас, тем более понимающим был человек. У Николая Кузанского: "Недостижимое достигается посредством его недостижения". В том числе: непостижимое достигается посредством его непостижения. Понимать собственную (самостную) глупость как принципиальную ограниченность, которая и есть верность указания

по поводу всего сущностного. Не тронь! Через нетронутость ты постигнешь. Умолкни! Через не вынесение суждений ты начнешь предчувствовать.

Хомо бегущий в отличие от хомо, сидящего в позе лотоса. И вот в качестве непрерывно бегущего он занимается йогой, медитацией и "духовными практиками". Даже порой прикидывается индийцем.

В оставшийся кусок времени человек может вдруг резко изменить "точку сборки", осознав, что история человечества действительно закончилась. Не на словах, а реально. Что впереди - ничто, зеро. И тогда прекратится этот бег. Наступит (великая) Внутренняя Остановка. Всё вдруг увидится в другой проекции и в иных пропорциях. Возможно даже наступит тишина или даже остановится этот хаотический поток мыслей и ассоциаций. Прояснится внутреннее небо и засияет голубая бездонность. Кто знает, что явится внутреннему взору. Как говорил царю первый пророк чань: "Простор открыт. Ничего святого". В смысле: о царь, оставь заботы о своих заслугах, о построенных тобою храмах. Оставь мелкие заботы, они не о том пекутся, не в том они направлены. Бессмысленно изучать великое, пребывая (внутренне) в ничтожной системе координат.

День тридцать первый

Конец художественности в жанре реализма совершенно закончен с приходом XX века: ужас социальной жизни и общий кошмар не "лезет" в игольное ушко искусства. Отраженные сознанием Кафки кошмары "нового человека" недаром приняли форму метафизических сказок. Искусство в качестве форм поэзии не может воспевать мерзость и мерзавцев. (Поэтому когда оно сегодня это массово делает, то становится производством муляжей и велиаровых агиток). Одним из пограничных в этом смысле (в смысле столкновения ужаса жизни как материала с нуждами подробного реализма) произведением был роман "Тихий Дон". Помню, с каким содроганием я его читал в первый раз. (Мне открылась сама суть нового века: *пришлые люди* не дают человеку жить на земле предков, вообще на земле, просто жить в

единстве с природой, то есть просто жить. Само это преемственное желание отныне карается смертью: пришлой inferнальной силой). С содроганием, ибо сама суть художественности есть привлечение нашей суггестивной симпатии к описываемому. Настал момент, когда предметов для художественного их воплощения не осталось. Лишь солипсические методы еще возможны в романистике и в стихах. "Падалъ" Бодлера, понятая как эксперимент и эпатаж, вызвала в свое время рукоплескания. Но когда все структуры и все паузы жизни двадцатого и двадцать первого веков заполнены падалью (и притом отнюдь не метафорической как у Бодлера), дышать становится нечем.

Конец искусства и конец ползучего хроноса человеческой истории? Что ж, прекрасно. Духовная революция если и возможна, то лишь как возвращение к вертикальному статусу времени. То есть к отмене статуса будущего, возврат к круговому движению. Возврат к Кругу, отказ от линии. От химерических надежд.

Когда книга (или стихотворение, соната, картина и т.д.) пишется не для употребления человеками, но исходит из полносоставной сущности анонимного лица, её непременно замечает бытийная инстанция. Г. Гессе попытался ее представить в виде Братства паломников в страну Востока, что конечно сильно понижает её уровень. К тому же само Братство оказывается иератически зашифрованной филологией, уходящей в почти бесконечность прошлого. Всё та же мировая библиотека Борхеса. Гессе, увы, так и не пересек границу культурологичности, хотя в самом конце жизни и пережил вспышку, Поворот, отчасти похожий на революцию в сознании позднего Бориса Пастернака. Хотя, с другой стороны, в одном из мест повести Гессе нечаянно попадает в центр, называя союз странников братством Высочайшего Присутствия.

Требование новизны художественных форм, приемов, стиля, лексики, ужимок и т.д. есть энергетическое выражение всё того же подлого экспансионизма и наглого "интереса к чужим землям", территориям и планетам. Искусство превратилось в захват, во вторжение, в совращение агрессией и насилием, в игру разрушения табу и вскрытия резервуаров сексуального семени.

С какого-то момента жизни имеет значение только качество книги и качество твоего прочтения. Этот момент нельзя упустить. И если она станет единственной - ты победил, ибо обрел её в себе.

Артистичность, конечно, элемент художественного впечатления, но когда всё сообщение затопляюще артистично? И когда уже ничего кроме голой и тупой артистичности эпоха уже второе столетие ничего не предлагает? Выйти бы на нулевой уровень с обнаженной констатацией пустого холста, листа, черного квадрата, новенького писсуара, пустой мелодии и отсутствующего ритма. Что уже делали. В качестве протеста. В качестве nihil. А в позитиве? Любовное чувство вне выпученных глаз и воплей гипертонической болезни. Вне смазливых жестов или сплошь застенчивого хамства. И т.п. Все стали слишком хорошо жить. Зажрались. Искусство в таких условиях самоустраивается, ибо на авансцену выходит с переплясом жратва и зрелища. Спазмы лжи.

По существу центр нашей т.н. художественной элиты - это интеллектуалы (люди, обоготворяющие цифровую активность мозга), а вовсе не поэты. Вот почему они продолжают уже столетнюю традицию ненависти ко всему русскому и трогательной любви к "мировой культуре". Станным образом это всегда идет в паре. Хотя вне паразитации этих господ на русском языке и на русской культуре их не было бы видно даже в самые мощные микроскопы.

Человеку нужен ближний, а не дальний. Но всякое внимание к дальнему, неизбежно становясь поверхностным, лжет и искажает и приводит к ложным симпатиям и к ложным ненавистям.

Растление начинается с воображения. Мы все это знаем. И тем не менее аплодируем растленному воображению.

Ошибка - противопоставлять науку и искусство по линии противостояния факта и воображения. Наука творит мифы, уводит человечество в страшные ирреальности, в шахты лжи, соблазняющие на погибельные пути. "Научный" человек - это не просто нравственное уродство, любопытствующий упырь, но убийца (плоти и духа). Феноменальное самодовольство. Сущностное искусство учит видеть

голую, чистую, сияюще-чистойшую фактичность: вот оно! Спасает от лжи воображения, очищая взор от свалок мусора из концепций, "знаний" и непрерывной психической свистопляски. Настоящий поэт ничто не сравнивает. Любимая несравнима.

Саша Верников в работе "Божественный Толстой" попытался объяснить свое ощущение от текстов мастера ("словно пишет сам Бог") тем, что Толстой, мол, и был реальным аватаром (понимая этот индийский термин вполне по-язычески). Саша просто восхитился и похвалил Толстого, склонил перед ним голову, перед его гениальностью "в искусстве владения словом". Однако Толстой потому столь "божественно высок" в своей прозе (в романах и повестях), столь уникален по тону и ритму (этой уникальностью, единственностью во всей мировой литературе Саша как раз и изумлен не на шутку), что в основании его натуры лежали все три стадии человеческой жизни, и в свернутом виде духовно-религиозная стадия жила в нем как гениальная, искрящаяся потенциями пружина. И если художник, живущий всю жизнь на чувственно-эстетической стадии (и не имеющий в себе другого, более глубинного, кармически вызревшего корня) пишет, сочиняет и ваяет из энергии чары (то есть, говоря попросту, из энергии паховой чакры), то трехпостасный художник пишет из оснований чистоты и святости еще не вполне проснувшейся Души. Которая и есть, собственно, универсум.

Что реально, а что нереально? Никаких критериев у нас нет. Но кто побывал в хронотопе между жизнью и смертью, кто месяц или два ощущал медленные-медленные, тихие-тихие колебания между жизнью и смертью в каждой клетке своего организма, тот чувственно пережил эту зыбкость: зыбкость телесного, мыслительного и эмоционального; реальным оказывается только Господь.

Презрение русских интеллектуалов к своей русскости похоже на презрение, которое бы вдруг обуяло полевой колокольчик к себе подобным. В связи с чем? С тем, что он бы поверил, что высший цветок - роза. Но роза ничуть не выше и не благороднее колокольчика и уж точно ничуть не краше. Просто возведена в ранг воспетости.

Почему меня так успокаивают "Записки у изголовья" Сэй-Сёнагон (начало одиннадцатого века) или "Записки от скуки" века четырнадцатого? Обычная ("растительная") жизнь фиксируется с наивно непретенциозным вниманием. Оказывается, что лишь кроткое внимание есть действительное внимание. А если претензия и возникает, то к внутреннему человеку, как у Кэнко-Хоси: "Обладать чем-нибудь, дающим превосходство над другими, - большой порок". Какое само по себе прекрасное суждение! И сколь оно неожиданно и удивительно! Само обладание преимуществом - порок. Вдумаемся в эту глубину, если мочи хватит. Тем более, выходит, пользование преимуществом - порок вдвойне. Не парадокс ли для нашего сознания? (Что тут скажут все наши бесчисленно талантливые, в том числе на ниве науки и искусства?) И далее автор записок объясняет: "Человек, считающий, что он выделяется среди других тем, что высокороден, или тем, что превосходит их талантами, или тем, что славен предками, - даже если он никогда не говорит об этом вслух, - в душе совершает большую провинность". Вторая удивительность: вина здесь существует в царстве Души, которая, следовательно, бытийственна, ибо космически первична. В этих записках и у Сэй-Сёнагон, и у Камо-но Тёмэя, и у Кэнко-Хоси не существует недовольства, идущего вовне, того недовольства, на котором стоит вся западная литература. И не только литература - сам человек.

Уничтожать крестьян (и казаков) как земледельцев, уничтожать не только идеологически-идейно, но и физически "большевикам" выгоды никакой не было. Напротив, был один экономический и моральный вред. Разумеется, это все понимали. Почему же уничтожали со свирепой безоглядностью миллионами? Здесь мистика инфернального движения угасания человека. Откуда, из каких истоков эта иррациональная ненависть именно к людям земли, к людям, укорененным почти беспредельно (земля=Бог)? (Разве не в этом суть глубинного порока-несчастья: потеря корня, потеря центра стояния?) Бенефициары двух наших революций, 17 и 91 годов, одни и те же. Кто их избрал? Они сами: вполне по учению Ницше о "новой знати". Каковы иррациональные корни ненависти, бушующей в мире и набирающей обороты? А то, что эти корни иррациональны, - вне сомнения. Истребление духа, истребление растительного начала.

Рильке в прощальном письме Леониду Пастернаку (1926 года) называл ситуацию в России новым игом, "новой Татарщиной", когда вся истинная Русь снова ушла под землю, затаиваясь и копя силы, на поверхности остались только захватчики и предатели. Впрочем, никто в тогдашней Европе и не сомневался в русофобской сущности большевизма. Этой сущности "новые правители" держались руками и зубами. Иначе как бы грузин засел в Кремле, в русской православной святыне, на тридцать лет. Космично ли дерево в поле? Космичен ли сапиенс в городе? Всё, что не космично, - погибельно. Какое дхармическое или, иначе, космологическое право имел Джугашвили, плохо владевший русским и мысливший и видевший сны на грузинском, возглавить тысячелетнее русское царство? Какое дхармическое, а тем более космологическое право имел иноземный атеист Свердлов вынести смертельный вердикт крестьянской элите русского народа? И т.д. вплоть до Зеленского. А мы рассуждаем о том, что "князь тьмы" - поэтическая метафора. Какие дети вырастают на сквозняке?

Мы променяли природно-космичный, почвенно-ландшафтный ум на абстрактно-логически-машинный. Бога на идеологию.

Зря надеялся Рильке: Россия так и не выбралась из-под нового ига. "Паханат" - с презрительно-злой усмешкой говорил тридцать лет подряд с экрана телевизора и в своих бессчетных книгах главный наш пастернаковед, кумир миллионов перманентно самовозобновляющихся большевиков. Впрочем, наконец-то сбежавший из ненавистой России.

Разве к власти и к императиву ненависти на Украине приведены не те силы, что ни в коем случае не могут иметь опоры в русско-украинском православном архетипе?

Индус не торопится: перед ним множество жизней. Русский неторопливо осматривается в неизвестном пейзаже, вслушиваясь в себя и в природу и понимая, что знать ему ничего не дано и что самый глупый и самый опасный сорт людей - те, кто вертят словами. Восток в человеке очень осторожен к словам, и как только начинается краснобайство или цирковые фокусы (чара) - закрывает книгу.

День тридцать второй

Брожу по лесу, всё поет и светится; и так хорошо понимается, почему ощутимо страшно умирать в городе и почему не ощущается страшной смерть на природе, посреди полей, перелесков, тропинок, речушек и озер. Смерть посреди людского муравейника страшна, ибо этот совокупный муравейник боится смерти и презирает умирающих. В природе ты видишь и ощущаешь как неразлично сплетены жизнь и смерть, сколь естественно опадание, сколь оно близко к сути роста и пробуждения.

Мы все боимся заглянуть в глубину пропасти, на краю которой сидим, в общем-то весьма довольные собой. Мы копаемся лишь в поверхностных конфликтах, занимаемся следствиями, а не истоками. Хотя сущность современного человека внутри его исторической парадигмы, может быть выражена одним словом - самовосхваление. В основе нашего мышления - самолюбование. В основе нашей художественности - самолюбование и самовосхваление "творцов". Сила Ницше и Батая - в напоре их самовосхваления. Из этого все импульсы: онтологические, гносеологические и этические.

Вот и ответ Джидду Кришнамурти на его неотступный вопрос Дэвиду Бому: почему современный человек не хочет отказаться от эго, которое ведет его напрямик к третьей мировой? Все формальные варианты ответов своего друга-физика Кришнамурти отвергал, повторяя: да нет же, всё это пустяки, должна быть причина, связанная с каким-то таинственным мощным влечением, впускаемым эго в кровь; что-то должно быть связано с кровью, здесь что-то неотвратимое, ведь головой-то все понимают, что именно культ эго ведет человечество к самоубийству, но есть, видимо, мне не понятная некая мощная сладость, поступающая из эго в кровь, которая не отпускает людей...

Флюиды расового превосходства одного этноса над другим синхронны флюидам личного превосходства одной человеческой монады над другой. Я не согласен с Симоной: "народ книги", конечно, не первый занимался геноцидом. Более того, ветхозаветный летописец сообщает

об этом без малейшего следа осуждения, ибо, вероятно, издавна жрецам являлись "голоса" Богов, сообщавших племени или роду о его божественности, так что идея "божьего народа" ("с нами Бог") одна из древних методик человека разрешить себе людоедство и разнузданность в качестве философии и стиля жизни. Это древняя практика "всерьез" считать себя и свой народ мудрейшим и достойнейшим на земле и потому имеющим право учить и поучать все другие. (В "Ветхом Завете": "Вы станете народом священников!" То есть будете учить всю ойкумену правильной жизни!) Эта древняя практика спекуляции на сакральных словах (филология во всей своей велиаровой мощи) была (и осталась) следствием великой слабости. Ибо когда духовной силы нет или она на самом доньшке, возникает соблазн спасти положение волонтаристским назначением себя в "сверхчеловеки": я божьего племени. И тогда можно куражиться. Не случайно в этот соблазн впадали почти все европейские нации, через Рим (и языческий, и католический), через эпоху конкистадорства и колонизаций вплоть до Наполеона и Гитлера, после чего эта мантра "с нами Бог", "мы - высшие люди" плавно переселилась в соединенные штаты. Услышав этот древний зоологический зов в своей крови, Зеленский и Ко моментально отдали честь "звездному" флагу.

Чем безнадежнее духовная незрелость и неполноценность человека, тем яростнее он хватается за эту мантру своего "чуемого в крови" превосходства над ближним. Современный человек глубинно (и сверхглубинно) настолько слаб (настолько мелки его колодцы), что произвольно украшать себя бирюльками стало его сущностью и работой, работой самообмана, заключающейся "в трудах" непрерывного самовосхваления и самоукрашательства (дошло даже до массовых татуировок).

Западный мир (скорее уже в ментальном, а не только в географическом смысле) был и остается зоологическим. Этот примитивнейший людоедский зоологизм прикрывался и прикрывается двумя эффектными вуалями: интеллектуализмом и эстетикой. Зоологизм в форме идеи расово-ценностной иерархичности человечества - главный конёк, на котором сидел и сидит воспламененный мозг сегодняшнего умника и всезнайки. Так что за всей этой шикарной декорацией мирового спектакля, вполне акосмичного, стояла и стоит древнейшая каинова печать.

Для правильного и эффективного восприятия искусства нужно отключить рецепторы совести. Это так, и в этом Цветаева права. Но это и есть приговор искусству и одновременно человеку нашей эпохи. В сущности здесь сформулирована подоплека эстетического фашизма, проникшего в каждую пору современного человеческого типажа. Фашизм вполне обыкновенен. Мы боимся признаться себе, что мы чудовища. Что мы объаты черным туманом эстетической красоты, начисто забыв о существовании красоты бытийно-этической и духовно-космической. Эстетическая красота с ее четко рассчитанными приемами давления на психические рецепторы зоологизированного хомо, с её циничными приемами выбивания шаблонов удовольствия и неизбежно-предусмотренных аплодисментов, с ее "телом толпы" в качестве главного эгрегора-заказчика и эгрегора-приемщика продукции - движется в пространстве истории, где курс на понижение остатков морали прямо пропорционален эстетической возбужденности (и талантливости!) толп.

На днях мне пришло письмо, где молодой человек спрашивает: не могли бы вы объяснить коротко и доступно, что понимаете под "эстетическим фашизмом". Я ему ответил: прочтите небольшой рассказ под названием "Дядя Миша" в моей книге "Изгнание в язык". А если вам недосуг, то вот очень кратко: современный человек западного (или прозападного) типа сознания - фашист, ибо движет им чванная самость; наступите ему на самолюбие и он вас убьет. Его душит ненависть, что он не на самой верхушке почитания. Воспитующей же подоплекой, подпиткой этого монстра является тирания эстетики, эстетической красоты. Никогда в нормальные эпохи у нормальных людей красота не была эстетическим феноменом. Хватит у вас мозгов это понять или нет, уж извините, не моё дело. У большинства, с кем я общался по этому поводу, мозгов не хватало, здесь камень преткновения. Они смеялись подобно персонажу Ницше, поставившего себя на вершину мозговых гималаев. Так вот, в мире непрерывно производится немислимое количество произведений искусства, вещей и артефактов, идей и проектов, мыслей и образов - чудовищно, тошнотворно уродливых этически, разрушающих ментальные пространства сердца, акосмичных и антидуховных. Красота наша почти сплошь неистинна. То есть лжива. Эта захлестывающая

всё и вся тирания уродства и есть эстетический фашизм, внутри которого мы живем.

В столь мрачных мыслях просматривал я свой старый блокнот и наткнулся на трехчастную заметку под названием "Формы и дух", показавшуюся мне любопытной и даже "на злобу дня".

Теза:

Европа обожествила форму (то есть принцип тела), вот почему сдала гитлеровцам свои страны. Дух бесформен (неограничен), чувство формы у русских слабо, ибо сильно чувство духа. Вот почему они защищали совершенно разрушенный Сталинград, где не было камня на камне. Вот почему немцы были изумлены: как можно драться за абсолютно сожженную землю, где нет ни зданий, ни ценностей.

Антитеза:

С обретением формы дух вступает в человеческие пределы, становится чувственным и душевным одновременно, в величайшем разнообразии вариантов и оттенков. Начинается великая игра, где дается шанс самым разнообразным вариантам и вариациям кармической зрелости. Великий соблазн красоты начинает свою игру, и пока искушение красотой форм не покинет человека, пока он не раскусит этот коан, он не выберется из сладкой и мучительной ловушки.

Синтез:

Мир и оформлен, и бесформен одновременно. Равно и человеческая психика устремлена сразу по двум каналам: к формам и к бесформенности, к чувственности и к духу. И куда она не поймет единовременной тщетности того и другого, она не взойдет на свой олимп.

Европейцы в свое время увязли в формах, любясь в этих декорационных переливах эгосодержимым. Русские до встречи с европейцами относились к эго с презрением как к форме скотства, потому и все формы этого свинства презирали, да и Петра заодно. Русская стойкость духа была связана с чувством братства, где и жил Бог. Вот почему русский в форме европейца - полная тля.

Русский в Сталинграде сражался за своё братство, зная пузом и потрохами о тщетности "я". Он сражался, защищая сам дух; в то время как европеец мог защищать от Гитлера (от материального разрушения) свои дома, дворцы, клозеты; весь свой капитализм, ставший его сущностью.

Русский, влезаящий в свою личную немецкую или японскую (да пусть хоть русскую) автомашину, разве не механическое пианино?

День тридцать третий

Какая тщета и тоска - размышлять в конце времен, тем более, что и без того всякое размышление - акт меланхолии: исток либо следствие. Плюс к тому сколько во всех этих рефлексиях неизбежной претенциозности, ибо постигаемое умом в общем и целом ничего не значит, все же человек - это не мозг, а совокупное вещество, равно и душа есть вещество, хотя и звездное, а не мозговой пар, и странно, почему люди ненавидят и даже убивают друг друга из-за каких-то сказанных слов, которые созидает механизм мозга из уже заготовленных общественными матрицами идеограмм. Сколь чист был у меня позавчерашний день, когда я занимался только садом, и мое пузо и мой позвоночник отвечали ритмам деревьев и кустов, а птички садились мне на плечо и на ладонь. А в речке с песчаным дном, маленькой, почти как ручей, я плыл подобно линю или огромному пескарю, и вода была холодной как ночной мрак, чуть засвеченный луной.

Книги интеллектуального "опыта" - чистое кипение самости, забывшей об истоках знания. Или даже никогда к этим истокам не подходившей.

Есть философия и поэзия, соразмерная лишь умственности и психической аномальности, "жажде невозможного", как это было у Ницше, Батая, даже у Рембо и Маяковского. А есть сознание и поэзия, соразмерные людям, ориентированным на Центр, а не на Край. Вся "литургия" Батая - апофеоз Края, крайности, тоска как апофеоз "поэзии руин" мышления. Человек здесь действует под влиянием императивов "крайнего опыта", доступного очень немногим. И это подчеркнутое осознание избранности входит в импульсы этого опыта. И афоризм Блейка "Все люди похожи друг на друга своей поэтической гениальностью" приводит его в опупение. Батай нарочно сбивает изначальную оптику, переводя себя в группу "особых людей".

Придумывая себе сверхзадачу, он через это определяет себя сверх-человеком, а затем начинаются "гениальные" словесные прыжки: цирковые номера "полной раскованности", "абсолютной смелости", которой он во многом учился у де Сада (а потом уже у Декарта, Гегеля и Ницше). С таким же успехом можно учиться поэзии отчаянной смелости и мужеству осознания "движения к Краю" у Гитлера, например, или у Чикатило. Сегодня этой поэзией влечения к Краю живет весь Запад, включая Польшу и Украину. Вся такого рода "тотальная поэзия жизни" есть не что иное, как сублимация суицидальных энергий.

Эту атеистическую экзальтированность нового времени подметил внимательнейший его наблюдатель Рудольф Касснер. "С начала XX столетия, принесшего мотор, европейский человек всё решительнее, одновременно сознательно и бессознательно, вводил себя в безмерное. Казалось, что уже больше нет границ и ограничений для тех, кто хочет вести беспечно-бездумное существование, подобно тому как, исключая Россию, уже не нужно было никаких паспортов для странствий. Всё стало легким. (Легкость жизни - принцип душевной смерти. - Н.Б.) Часто могло показаться, что мы приблизились к эпохе, где цена и ценность вещи совпали и что теперь могут приобретать особую значимость и являться в качестве достойных внимания только необузданность и распутство".

Как давно было сделано это наблюдение. Когда ценность меряют ценой, то ценности исчезают, всё становится товаром: сегодняшний гротескный мир. А необузданность и распутство... Кто был более необуздан и распутен, чем Батай? Но он всего лишь действовал по лекалу времени, возбуждая себя мыслью, что он невиданный революционер, отнюдь не будучи оригинальным, как не были оригинальными ни Богров, ни Юровский.

Атеизм вспыхнул протуберанцем и всех охватила жадность тленности. "Познать тоску всех стран и всех времен..." "С этой безмерностью в мире мер..." Глобальные проекты, глобальное мышление, освоение "Космоса", глобализм, мировая гегемония... Жажда переселения в "иные миры". Мыслительные фигуры полностью завладели человеком, поставили его под полный свой контроль.

Недоступность мыслям, недоступность словам - вот исток чистоты и ментального здоровья. Пользоваться инструментом и быть его рабом - слишком разные вещи.

Устремленность к легкой жизни, вновь вспыхнувшая, новый сигнал катастрофы сознания. Умный (ментально здоровый) человек устремлен к трудной жизни. То есть к глубинному переживанию того опыта, который дает одиночество. А все Маяковские и Батаи без толчеи общества, в которую они шумно влазят, не могут прожить и дня.

Нельзя позволять слову уходить в усложнения такого рода, когда словесность сама начинает играть в свои отдельные игры, упиваясь властью над умом человека и над его чувством красоты фоном. В том и в другом смысле человек слаб и, попадая в морскую стихию разыгравшейся словесной бури, он ни за что не сумеет соотносить все эти сплетенные из разнообразнейших жил и энергий ментальные и фонетические сдвиги, толчки, ассоциативные стропы, надувные шары, фейерверки и все иные манипуляции и манипулирования с бытийной основой, на которой стоит истина молчания и мирового безмолвия.

Молчащий человек таинствен. Говорящий либо банален, либо пошл (зачастую в виде претенциозности). Это ли не доказательство, что речью мы изгнаны из Рая.

В Батае мне любопытны сами попытки (их структура) выйти за пределы художественности к более сущностному методу соединения слов, где "поэзия руин" сглаживает нестерпимую боль от нереализованности и даже краха попыток "стать всем" и "познать всё". И рождается гипотеза грёзы, которой является для тебя Бог и Вселенная, как ты в свою очередь есть грёза Неизвестности. И там, где эта гипотеза из умственной становится ежедневной практикой "йоги" или "поэзии вне слов", рождается примирение, называемое Батаем "экстазом".

И Ницше, и Батай топтались вокруг одной и той же калитки, убеждая себя (и читателей), что истину можно взять только оголтелым приступом,

что она поддается только насилию и самому непристойному изнасилованию. (Хотя индусы-то и русские с изначала знали, что истина непознаваема, а открывается в качестве дара тому, кто её любит, да и то не всем, а по "капризу" харизмы. К тому же в качестве *алетейи* она не сокрыта, ибо она есть истина-естина. (Не требует раскопок и научных институтов). И дано её переживать только выдающим, то есть обладателям абсолютно чистого зрения). Известно, сколько энергии отдал Батай блужданиям в болотах похоти и кощунственных экспериментов. Вот его оправдания: "Несомненно, я больше, чем Ницше, склонен к ночи незнания. Его не влекут трясины, в которых я, увязая, провожу свою жизнь. Однако довольно колебаний: даже Ницше не будет понят, если эти глубины останутся нехоженными. До сих пор последствия его мысли оставались поверхностными, хотя и весьма импозантными". Не убедительно. Разве Ницше не вел себя в жизни паинькой? Разве он становился "орком воображения", насилия священников прямо у алтаря ради припадка экстаза фашистского типа? Не имеет ли Батай в виду, что для понимания интеллектуального экстаза, в котором жил Ницше, у современного человека нет воображения? То есть оптикой понимания Ницше Батай считает свой опыт сексуальных трясин, свой абсолютно загаженный мозг, ставший проституткой мышления. Да-с, комплиментик.

Массовый опыт страданий (ленинско-сталинские щипцы и кувалда, ГУЛАГ) делают ли нацию более мудрой? Посредством каких коллективных качеств? Есть ли вообще позитивные коллективные качества?

Отменяя совесть, Батай рассуждает о Боге, пытаясь создать в нас иллюзию, что у него есть "особое право" на "особую болтовню". Мол, он мыслитель для немногих, таких же, как он, "особых штучек". Но у каждого из этих немногих свой интеллектуальный путь, и ему глубоко наплевать на путь Батая. А вот олухов, вертящих головой, ищущих авторитета, вокруг толпы. И страстно добиваясь известности, Батай и иже с ним созидают паству из тысяч и миллионов. Так что не надо лукавить, говоря о частном экзистенциальном пути. Все эти люди занимались пропагандой себя. Рассуждая об "искусстве, творящемся вне пределов совести", они говорили о пространстве своей умственности, притворяющейся душой.

Батай очень часто вызывает у меня ассоциацию с извивающимся червем. Труд, затрачиваемый на понимание этого извивающегося сознания, абсолютно ничем не вознаграждается.

Во всем вещественном есть доля духовного. Во всем духовном есть доля вещественного. Дух нам известен лишь во плоти. Поэты изучают духовную плоть мира. Хорошо сказал Шри Прабхупада: "Истинное чувственное наслаждение возможно только тогда, когда болезнь материализма устранена".

Большинство людей, как я догадываюсь, рождаются внутри материального тела и, соответственно, внутри материального эроса. И все же немногие рождаются внутри духовного (тонкого) тела и духовного эроса. Общение между этими "расами" непродуктивно и мучительно. Скажем, живущий в духовном эросе не способен к измене. Для живущего в материальном теле замена одного "партнера" на другого - неотвратима и даже обязательна.

Нельзя познать Господа или даже просто приблизиться к Нему, к его ландшафтам без его на то благословения. То же с истиной. (Если она не есть Господь). Ведь даже в общении между людьми: я не дам себя познавать кому-то, и этого будет достаточно, чтобы этот человек не смог (как бы он ни бился) приблизиться к сути моих ритмов и к моему экзистенциальному кредо; я буду выдавать ему лишь образы иллюзий, актерские жесты и картинки.

День тридцать четвертый

Открыл с утра в саду (под яблоней возле баньки) томик Арсения Тарковского и перечёл два стихотворения. "Мне снится какое-то море, /Какой-то чужой пароход..." И второе: "Какие скорбные просторы, /Какие мокрые заборы, / И эта полунагота/ Деревьев, эта нищета, / Когда уже скрывать не нужно/ Ни жалких слез, ни старых ран..." Двух этих стихотворений вполне хватило, чтобы настроиться на долгую прогулку.

Вспомнил, как получил как-то письмо от двадцатилетней студентки: уже год она дружит с четвертой Дуинской элегией Рильке. Хорошее, умное и чистое письмо. Она почти ничего не знает о Востоке, но стихийно использует текст элегии как материал для медитации. Умница. Она не пытается пролистать из любопытства том Рильке "по диагонали". Думаю, постепенно она дорастет и до восьмой и до девятой.

Поэты любят подчеркнуть, что якобы идут по следу Бога, впервые называвшего вещи, которые только в тот момент и обретали бытийное основание. Эта легенда шибко греет их "скромное" воображение. Поэты забывают о том, что слово Бога и слово человека - из разных бытийных "кассет". Наше слово, конечно, создает вещь либо действие и т.д., однако эта вещь иллюзорна. Ибо реальная вещь, данная нам по факту общения с ней (тактильного, обонятельного, зримого и т.д.) вовсе не исчезает, будучи и оставаясь не названной. Имя вашей возлюбленной отнюдь не онтологично в истории ваших отношений, и если ее имя остается для вас неизвестным, то это лишь углубляет ваш к ней интерес и ваше понимание ее сущности. Имя, равно как подробности её жизненной истории лишь создают ложную легенду, и вы всё более общаетесь с социальной маской и ролью. Точно так же мастеру вовсе не надо знать названий инструментов, если он не вступает на педагогическое поприще. Слова сбивают нас в фантастическую вселенную, где мы стремительно деградируем, становясь абстракциями, манипулируя вещами и отношениями.

Иное дело, когда вещь сама себя называет. Но не изнутри навязываемого ей "проекта". Следовало бы догадаться об истинном имени вещи, как и об истинном имени возлюбленной. В "Гите" сообщается, что "после разрушения материального тела живая сущность не уничтожается и даже не теряет своей индивидуальности". Внимание к словам, тем более страстное (онтологически-страстное, гносеологически-страстное, чувственно-страстное) ослабляет (а в нынешние времена уже чрезвычайно) внимание к живой сущности.

Слова несут смерть вещам, которые называют, - довольно модное изречение М. Бланшо. Но ведь еще Лао-цзы по сути говорил то же самое: "Говорящий не знает, знающий не говорит". Отдающийся страсти слов вводит себя в иллюзию и творит лжезнание. Познавший

оставляет слова, ибо сущность знания внесловесна. Лао-цзы был своего рода принужден (угговорили, умолили!) к написанию Даодэджина. И прочитан он может быть только человеком, близким к знанию. Доверившись словесности, человечество погибло в стремительно накапливавшейся лжи. Ибо всякая амбициозность идет из лжезнания, из самообольщения красотой речевого потока и ментальных остроумных формул.

На заре философствования Гераклит и его линия подходили к тем же интуициям "темного стиля": исходно-мистический логос не имеет никакого отношения к словесности. Говорящий и пишущий, не сумевший воздержаться, должен помнить, что он умножает ложь. Это остережение, это памятование сделают тон и ритм его речи иными; он ощутит, что рядом присутствует измерение неслышимой речи и внебуквенного, внесимволического алфавита. Он примет на себя вину за коллективное участие во лжи онтологически-космического размера. В идеале может измениться тон и тональность всякого дискурса: от песен до научных трактатов, что резко повысит внимание к внесловесным, внеречевым формам общения и познания. Истина открывалась и будет открываться тем, кто очистит себя от малейших поползновений тщеславия и "самоутверждения". Человечество, в идеале, может проснуться к истинам не-деяния.

Есть ли мир за пределами слов? Реален ли он для нас? Для филолога (в узком и в широком смыслах слова) он нереален. Но дело в том, что только он и реален. Именно это и говорит Лао-цзы. Лао-цзы - не профанный автор, он знающий, и тут любые толкования неуместны. Это все равно как толковать даосское знание о том, что умный человек накапливает слова, а мудрый избавляется от них. Это надо принять как принимает лекарство смертельно больной.

Лао-цзы сообщает нам о том, что реальность пребывает за пределами слов. Еще молодой Рильке писал как-то одному юному поэту, что "большинство событий несказанны, совершаясь в пространстве, в которое никогда не входило ни единое слово". Креация не есть размножение слов. А по историческому существу человеческая речь оказалась великой профанацией реальности. В самой исторической хронике вербальной речи проросли семена лживости и эгоустремленности. Даосскую истину абсолютно невозможно приспособить к нашему филологизму. (Тут я обращаюсь к нашим

модным поэтам). Приспосабливая сакральное к нашей системе координат, мы теряем саму возможность его восприятия.

Едва ли мы в наших интуициях можем пойти дальше, чем изначальность Мировой Души. (Платон). Идея христианского Бога-Логоса пытается свести незаметно суть Творения к человеческой рефлексии, к человеческому воображению и, соответственно, к креативности Слова, которое в качестве мистической силы в любом случае давным-давно уже разрушено нашим чудовищно самовлюбленным антропологизмом.

Нам нужна речь, которая бы парализовала мрачную волю нашей небрежной или разнузданной речи. Нам нужно слово, которое бы укрыло наше мутное, взбаламученное, тщеславное слово тишиной и покоем. Что же это за слово? Это в подлинном смысле не-слово.

Утончиться? Но ведь и так уже всё порвалось. Распалась связь времен. Стать проще, естественнее. Дружить с кем? С растениями. С растением в себе. Да, в тебе живет сознание. Но что это такое? Разве это ум, остроумие, натренированная утонченность? О, какое внимание к эстетическому такту в обыденной жизни у блаженно-скромнейшей Сэй-Сёнагон! Какое внимание к такту этическому у блаженно-скромнейшего автора "Записок от скуки", которые я только что закончил перечитывать, положив у изголовья постели "Дневник эфемерной жизни" Митицуна-но-хаха, десятый век. Исповедь? Проповедь? Игра? Ни то, ни другое, ни третье, полное отсутствие претенциозности. Ни грана тайной самовосхищенности и тайного самовосхваления. И как им удавалось жить так просто, так дао-доверчиво в этом их десятом веке?

День тридцать пятый

Сколь велика польза от палаты 708, где ты умирал.

Разве тот, кто принимает и поднимает свою нелегкую дорогу, укрывая тех, кто по ней идет, не имея иных сил и не вылезая в другое-чужое, - не свят? Да, уже свят. Он защищает милостивое умирание секунды Бога.

Невежды (люди, чистые от знаний) уже много раз в палеоистории спасали Землю, и они её еще спасут. Не в палеоистории, а во Вне-истории. Небо не поет, оно чисто. Святой не дает бежать себе. Он слишком ощущает, что несвят. Ибо свято зерно и травка вдоль дорожки и тропы, которой триста, пятьсот лет.

Маленькие письма: в Фуруборг, Нёльке. Умничанье как распад, а изысканность как волхование бестий. Беспремерная жестокость образованных дам с тесаками в руках.

"Пресвятая Мария". Рисунок, небрежный, то есть абсолютно свободный и трогающий. Мария Рильке и Франциск. Они прислонились к стене Замка, крошечного как Земля.

Ярославль, Великий Новгород, Низовка. Уничтожению подлежит всё постигающее.

Как Симоне удалось быть образованно-страстной и одновременно неграмотной девушкой? Чудо прохода меж долин. Чудо прямой наивности. Ощущение себя мировой пустотой.

Дурачок спасёт мир, спасая его много раз. Дурачок как центровой ток мира, крепь.

Сеньор держит свой мидгарт строго, помня, что глупость безмерна и всесторонна. Он маленький дирижер своей священной весны.

Толщей знаний жадные маги погребают парящее целомудрие неграмотности. Зловоние становится субстанцией. Клики черных магов-всесоединителей..

Как легко, как замечательно, с ходу с начала двадцатого века все стали схватывать "красоту", эстетику льда, даже Сталин тащился и от Маяковского, и от Пастернака. Вирусом этого захвата мир переполнен, возможно, уже исходно.

Мельком в проплывающем журнале сияющее вершинным сиянием мужское лицо и начало заголовка: "задорная радость..." Я продолжил: задорная радость четвертой мировой.

Ах, как сияют после полоскания в реке отбеленные и отсиненные простыни: руками неграмотной женщины! Вся влага доверия Господу, этой птичке белой, охватывает её до клеточного состава. И тогда простой вышитый платочек - царство Божие.

Grabmal Сыростана. Но и мы несем грабмаль мира.

Ах, ну почему он не назвал свой роман, скажем, "Клуб Даниила Андреева" или "Георга Тракля", или на худой конец "Старца Симеона"? И как всё стало бы славно, осмысленно, глубинно, космично и выправились бы все силовые линии, словно мощным магнитом притянув к центру важное и не очень в безупречной законосообразности.

"Выклеванный птичкой" глаз того незабвенного пастушка. Подворье коней. Ценнее наивности твоего мира нет ничего. Самый наивный - цветок Господа.

Я родился с чувством полного обрушения нежной дымки древней пневмы, храмового принципа человечества. Мир был обрушен в своей когдатойшей поэтической потаённой ласковости. Прах цветов уже не долетал до земли. Они таяли в воздухе.

Мы хотим знать все травы. А зачем? Разве травка знает о тебе, ведая? Череп человека охвачен лихотоманкой захвата, пожирания "про запас". Оттого пропускается Касание.

Выклеванный глаз пастушка благословил его на то, чтобы он однажды внезапно очнулся июньской ночью. Господь отобрал лишнее, приник к сердцу пастушка, вложив кусочек амбры в правую половину груди.

Где уже жила птичка. Она не знала ни одной песенки, но её белый голос кто-то слушал возле приболотных копен сена. Этот кто-то ей сострадал.

Не умирает умирание перехода: жилы истаивают в колеблющемся возрождении. Между прахом и прахом.

Погибель филологизма. Прикрыли зыбкость истины панинтеллектуализмом. Тщеславец убивает на корню всю мистику своих порой гениальных касаний: к себе "с той стороны".

Открыть совершенно неизвестного поэта в совершенно известном поэте. Открытие всегда здесь, а не в сфере публичного. Публичный поэт - не есть поэт. Укромность и потаённость поэта может доходить до паразитических степеней неузнавания поэтом себя в себе.

Бездонно-архаичная человеческая "связь": ковры, орнаменты, символы, утварь, горшки, росписи, жилища, мосты... Всё это когда-то человеку было подарено, дано из ниоткуда для никуда.

Потаённый поэт: поэт-для-себя. Рильке не вписывался ни в одну из многочисленных концепций, в которую его включали или которых он сам касался, ибо каждый раз валентность и модальность его касаний была иной, другой.

Как только искусством стали интересоваться все, оно потеряло свой цимес и свой гравитационно-магический центр, превратившись в миллиарды пустых раскрашенных шариков. Миллионы черных магов, не ведающих о своей воровской сути, опустошили сокровищницу в сокровенных пещерах, куда попасть можно было порой лишь ценою реальной катастрофы в мире прагматическом и устойчиво зафиксированном.

Мир (назвать его природным или сверхприродным еще не значит уловить его мистериальность) переполнен красотой с такой избыточной данностью фактур, фигур, цвета, ритма, мелодий и иной бездонности в каждый момент, что любые претензии человека на "эстетические формирования" мира нелепы. Ничего облагородить

художник не может, но может входить и пребывать в высших качественных точках касаний сверхприродного и с двух сторон связанного молчью.

2021 - 2022

Николай Ф. Болдырев
Уроборос
Книга эссе

Набор, вёрстка, обложка - Евгений Дымов
Корректор Елена Северская
Свёрстано: июль 2023
Бумага офсетная

